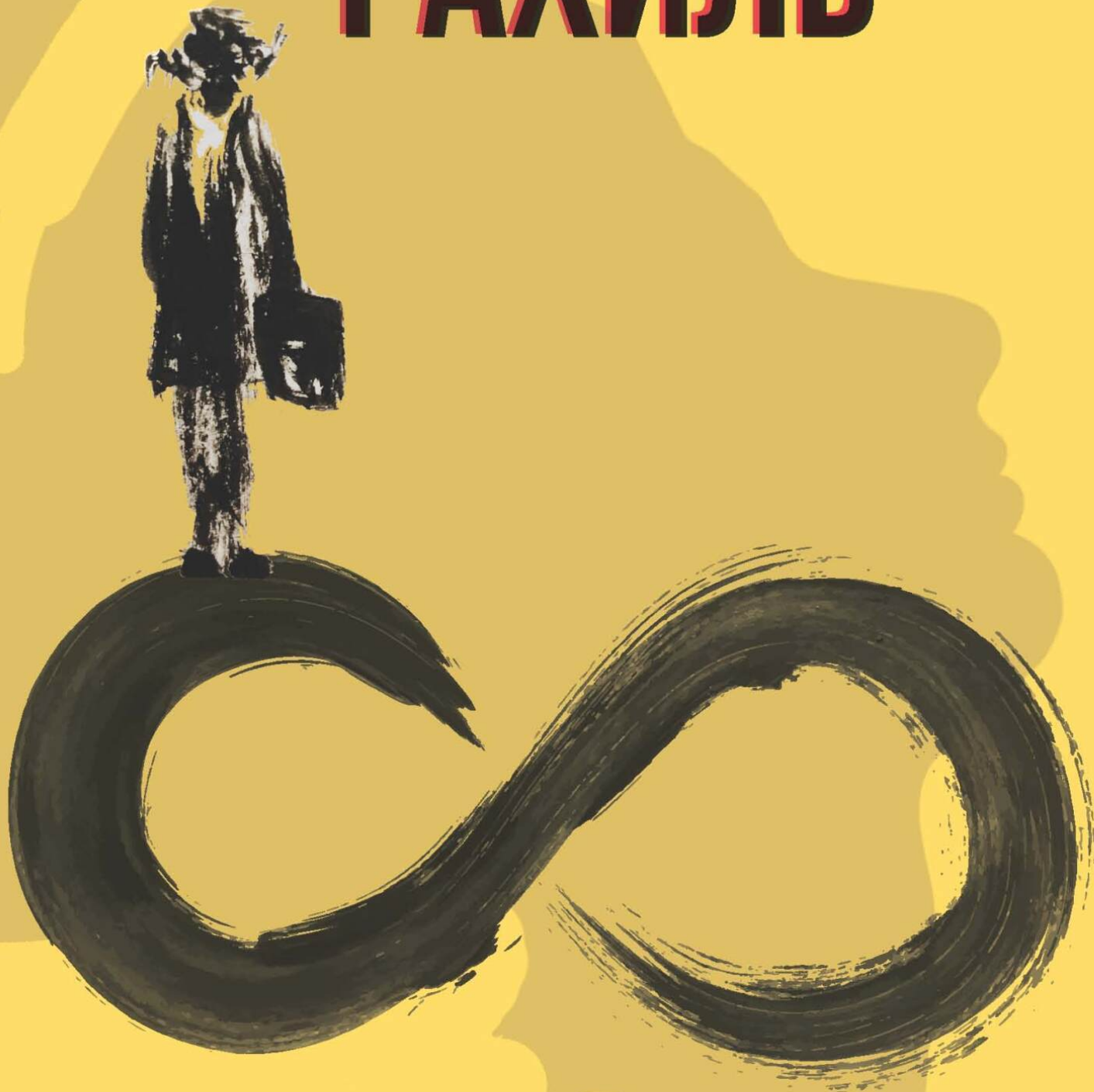


Андрей Геласимов

РАХИЛЬ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРОДЕЦ

Андрей Геласимов

Рахиль

Издательский дом «Городец»

2021

Геласимов А. В.

Рахиль / А. В. Геласимов — Издательский дом «Городец», 2021

ISBN 978-5-907220-87-4

Новая версия романа, получившего премию «Студенческий Букер». Теперь – строго для взрослых. Никаких отступлений, никакой зауми, никакого снобизма молодости. Профессор литературы пытается выжить в условиях кризиса после краха СССР. Его беременная невестка – единственный человек, способный ему помочь. Однако ее методы не совпадают с нормами общественной морали.

ISBN 978-5-907220-87-4

© Геласимов А. В., 2021

© Издательский дом «Городец», 2021

Содержание

Дина	6
Рахиль. Часть первая	21
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Андрей Геласимов

Рахиль

© А. Геласимов, 2021
© ИД «Городец», 2021

Дина

Он говорит – интересно, где ты это взяла. А я говорю – интерес, интерес, выходи на букву эс. Где взяла, там уже нету. И столкнула Люсю с дивана. Потому что профессор на кровати тогда спать уже не ложился. Думал, что Люся будет продолжать ему туда гадить. Но она ведь тоже не дура. Поняла, что к чему, и начала присматриваться к его дивану.

Поэтому я говорю – смотрите, какая клееночка. И совсем не похожа на детскую. Те ведь такие коричневые. Никто не подумает, что это вы писаетесь. Он смотрит на меня из своего кресла и говорит – кто не подумает? Ко мне не приходит никто. Я говорю – ну, не знаю. Вы же сами стеснялись детской клеенкой застилать. Он говорит – я не из-за этого стеснялся. Поддай мне, пожалуйста, валидол.

И замолчал со своей таблеткой.

А я пошуршала клеенкой и пошла на кухню Люсю кормить. Только Люся еще не знала, что у меня нового для нее ничего нет. И стучалась об мои ноги, как будто у меня было. Лоб твердый, как бильярдный шар.

Я однажды оперлась на стол, а Володька в этот момент ударил. И шар прямо мне в косточку. Вся рука потом так опухла. А Володька говорит – извини, извини. Я думаю – ага, извини. Тебя бы так кто-нибудь. У самого ручища как танковый ствол. Какой там бильярдный – можно для кегельбана шаром колотить. Все равно ничего не будет. Как схватит. У профессора совсем не такие руки. Интересно, в кого это Володька пошел?

Я открыла холодильник и говорю – ехала машина темным лесом за каким-то интересом. Инти, инти, инти, рес, выходи на букву эс. А Люся меня послушала и догадалась, что ей ничего не светит. Хотя я совсем не для нее эту песенку говорила. Просто на ум пришло. Но Люся – умная кошка и умеет понимать голоса. И в моем голосе, видимо, было, что ничего для тебя, Люся, у нас нету. То есть у меня. Чем бы тебя, тварь этакую, покормить?

Потому что у профессора для Люси давно уже ничего не было. Если бы он мог, он бы ее вообще сбросил с балкона. Но он не мог. Потому что профессора кошек с балконов не бросают. У них другие занятия. К тому же Люся все равно бы вернулась. Если кошка начала гадить кому-то на постель, она просто так не успокоится.

Это еще мама сказала, когда отец стал совсем сильно пить.

Может, она и сейчас так говорит, но мне уже неинтересно. Я теперь в профессорской семье. Правда, самого профессора в этой семье что-то не видно. Тут у всех в голове тоже свои тараканы.

А эта умная Люся разворачивается и с презрительной улыбкой уходит из кухни. Такая оскорбленная Принцесса Лебедь. Как в мультике. Или в балете. Я уже не помню. В общем, такая Майя Плисецкая. Но я же не виновата. Я специально ради нее заскочила в универсам, а там оказался этот мальчик.

Просто у меня правило – за один раз только один предмет. Будь там хоть миллион всего в ассортименте. Пусть даже самое-самое. Пусть даже английское печенье. С кусочками шоколада и облепленное орехами. И такое мягкое, что почти не хрустит. Хотя врач сказала – жидкости надо поменьше. Не больше одного литра в день, а то ноги уже отекают. А с этим печеньем столько всего напешься, что не запомнишь – литр там или не литр. Поэтому – строго одно наименование.

Ну и не только поэтому.

А тут этот мальчик. Года четыре на вид. И такой весь батон. В четыре года дети – очень батоны. Стоит там у себя внизу на своих маленьких ногах и шепчет что-то маме, у которой в корзинке маргарин «Рама» и хлеб. На цыпочки поднимается. И вид у него заранее виноватый, как будто он вот уже знает, что ему откажут, но удержаться и не попросить тоже нет сил. Потому

что ему всего лишь четыре года, и он весь такой вот батон, и, значит, у него еще имеется его волшебное право попросить даже тогда, когда совсем нельзя. Которое потом кончится. Стоит только чуть-чуть подрасти. И деньги у родителей вроде бы уже появились.

Я посмотрела на них немного и думаю – ну, покажи мне, чего ты хочешь. Сегодня я твоя фея. Люся «Вискас» и так жрет почти каждый день.

Но он, блин, совсем маленький и показывает как-то непонятно. Я смотрю осторожно в ту сторону и не очень-то понимаю – то ли малиновый джем, то ли компот из вишен. Вижу только, что мамаша с маргарином головой ему уже дала от винта. Я про себя говорю – не вешай нос, челдобречик, покажи мне еще раз. И он поднимает руку.

Но все равно непонятно.

Они ушли к кассе, а я стою у этой полки и думаю – компот или джем?

Я лично за вишенки. Мама только по большим праздникам покупала, и можно было косточками плевать с балкона во всяких лысых людей.

Компот или джем?

С другой стороны, джем можно намазывать на булку, и поэтому его хватит на несколько дней. А вишни улетят за десять минут. Ну, плюс еще полчаса с косточками на балконе.

Блин, если бы не мое правило!

Одного еврея спросили – вам бутерброд с маслом или с мясом? Он отвечает – с мясом. Такая умница.

Наш профессор тоже еврей. Но совсем не умный. То есть как профессор, наверное, умный, а как еврей – не очень. Живет никому не нужен, и в квартире у него – шаром покати. Нарочно сам все так сделал. Мог бы совсем по-другому жить.

Короче, если бы не мое правило, я бы и Люсю, наверное, не обидела.

Компот или джем, на фиг?!!

Я поворачиваю голову и смотрю – есть ли камеры. Вроде нету. Тогда я начинаю считать их пальцем. Эти банки. Мне так удобнее. Когда в детстве для прятков считались, обязательно тыкали пальцем в грудь. И я считаю – ручки, ножки, агу, речик, воты, вышел, челдо, бречик.

Получился малиновый джем.

Я обернулась еще раз и взяла вишни. Мало ли что эти дурацкие считалки могут сказать.

На кассе никто ничего не заметил, и я выскочила на улицу. Эти двое уже шли к остановке.

Смотри сюда – я этому батону говорю, пока его мамочка отвлеклась на какие-то объявления. Квартиру, наверное, хотела снять. Видишь?

Он посмотрел на банку и улыбнулся. Я думаю – значит, все-таки вишни.

Я говорю – бери. Он берет и тихим голосом говорит – спасибо.

И потом через десять секунд она мне кричит в спину – девушка! А я думаю – нормально придумала. Где ты видела девушек на восьмом месяце? Я – фея.

Но зато Люсю теперь кормить было нечем. Хорошо хоть забежала в универмаг и взяла у них там клеенку. Большая, правда, оказалась, зараза. Пришлось тащить ее из кухонного отдела в примерочную. Еле-еле пальто застегнула, хоть оно и на два размера больше. Но Люсю можно уже не бояться. Помыл клееночку – и заново постелил. Только сидеть на диване будет немного странно. Как на столе. Она ведь в цветах. И попе, наверное, скользко.

У нас в школе англичанка любила так наряжаться. Тоже вся разноцветная. Отец ее как увидел, запел «Яблони в цвету» композитора Мартынова. Прямо в школьном коридоре. Он ведь не знал, что будет родительское собрание, и успел после работы клюкнуть. Но мама сказала, что он совсем не занимается моим воспитанием, и поэтому ей пришлось потом бить его по затылку газетой. Чтобы он перестал петь.

Англичанка по кличке Тугеза. Разучивала с нами замечательные стихи.

Маза, фаза, систе, браз,

хэнд ин хэнд виз ван эназа.

А потом стояла грустная у окна и куда-то смотрела, пока мы бесились, как черти. Возникло ощущение, что звонка она ждет гораздо сильнее, чем мы.

Потому что мы-то его вообще не ждали. Нам и так было нормально. Однажды на шум влетел директор школы. Орал на Тугезу прямо при нас.

И тут профессор тоже вдруг начинает кричать из своей комнаты – Дина. И потом еще раз – Дина. Как будто пожар. Или как будто Дина значит – боже мой, как я устал от этой жизни. Я захожу к нему и говорю – ну а зачем вы клеенку-то, блин, убрали? Я ее специально ведь для этого принесла. А он говорит – совсем обнаглела. Я говорю – я, что ли? Он говорит – Люся. Прямо у меня на глазах запрыгнула на диван.

Я пошла в ванную за тряпкой и думаю – это она из-за меня. Отомстила за то, что я «Вискас» не принесла. А профессор идет за мной и говорит – ты знаешь, зачем человек воспитывает в себе хороший вкус? Я говорю – не знаю. Подвиньтесь, пожалуйста, мне надо пройти. А он говорит – затем, чтобы постоянно страдать от окружающей его вульгарности. Я говорю – надо же, как интересно. А он продолжает – мазохизм это совсем не то, что придумал забавный господин Мазох. Австрийский затейник, со своими шлепками по заднице, просто дурачился, вспоминая веселые киндергартеновские времена. Настоящая суровая ненависть к самому себе господину Захеру даже не снилась. Сидел и сочинял непонятных теток, которым нужно неизвестно что.

Я говорю – кто сочинял?

Профессор смотрит на меня, а потом поднимает указательный палец и говорит – подлинный самоненавистник воспитывает в себе хороший вкус. Он понимает, как сделать себя уязвимым.

И тогда я говорю – вы специально, что ли, клеенку с дивана убрали?

Я всегда подозревала, что у него не все дома.

Вера говорит, он когда-то работал в психушке. То ли санитаром, то ли еще неизвестно кем. Врет, может, конечно. Ей обидно, что он ее бросил после двадцати где-то совместных лет. Но зато у нее остался Володька. И теперь я. Хотя насчет меня еще не факт – большое ли это для нее утешение. Для меня было бы небольшое. Интересно, передается ли это по наследству? Я имею в виду – уходить от жены после двадцати лет. Потому что я тогда этого Володьку лучше прямо сейчас убью. Зарежу ночью в постели. Утром он просыпается, смотрит, а сам уже мертвый. Ужасно смешно.

Профессор говорит – не нужна мне, Дина, твоя клеенка. Я хочу, чтобы Люся перестала ходить мне на постель. Я ему отвечаю – она куда хочет, туда и ходит, а клеенку вы убрали совершенно напрасно. Мне ее не так легко было из магазина забрать. А он говорит – и ты к тому же ворующая.

Конечно, ворую. Что мне делать еще?

Но я говорю – да перестаньте. Он говорит – уже перестал. А по глазам видно, что перестать он не может. Его доканывает быть родственником у воровки. Он же типа профессор.

Я говорю – вы вот профессор, а не понимаете сложностей переходного этапа. Он говорит – ты о чем? Я говорю – вы, когда Белый дом защищать к этому Ростроповичу с автоматом ходили, разве не понимали, что вам потом все равно зарплату по полгода не будут платить? Ростроповичу будут, а вам нет. Он смотрит на меня и говорит – не было у меня автомата. Я говорю – да не у вас, а у Ростроповича. Я по телевизору видела. Что вы к словам цепляетесь? Он говорит – странная ты какая-то. При чем здесь это? Я говорю – а при том. Просто надо уметь выкручиваться. Ростроповичу уже, например, не надо. Вот он с автоматом и ходит. А вам лучше бы научиться. Он говорит – я профессор литературы, и у меня очень больное сердце. Я говорю – да знаю я все про ваше сердце.

Как в песне Леонида Утесова. Которая поется козлиным голосом.

*Спасибо, сердце,
что ты умеешь так любить.*

Директор школы, когда из семьи ушел и на Тугезе женился, тоже, наверное, таким голосом разговаривал.

После пятидесяти мужикам надо делать чик-чик. А то в штанишках становится туговато. Но они, гады, при этом говорят: «Спасибо, сердце». Видимо, в школе плохо учились. Не просекли по анатомии – что у них где.

А так были бы как коты после операции. Огромные, теплые и пушистые. И что с того, что не очень игривые?

Жрут, правда, много.

Я смотрю на профессора и говорю – не знаю, чем теперь Люсю кормить. Он отвечает – м не все равно. Можешь выбросить ее с балкона. Я говорю – нет, это вы сами. Кошка ваша, и гадит она не мне, а вам на постель. Профессор помолчал немного и потом говорит – мне сказали, что это очень плохая примета. Я говорю – ну да. Ничего хорошего. Только вы ведь профессор. Не будете же вы верить в приметы.

А он говорит – да, да, конечно. Но голос у него какой-то задумчивый. Не совсем такой, как у тех, кто в приметы не верит. Те на любой вопрос отвечают по-пионерски.

Оптимисты долбаные.

Я, кстати, и сама еще успела пионеркой побыть. Пока Горбачев всю эту советскую лавочку не прикрыл. Меня как раз Тугеза в них принимала. Уставилась на своего директора и галстук этот мне на шее так затянула, что я начала кашлять. Любовь, блин.

Только я-то здесь при чем?

Профессорскую «тугезу» звали Наташа. Она у него студенткой была. Пионерский галстук на шее никому не затягивала, но за профессора взялась так, что у него все болты в голове с резьбы послетали.

Взвились кострами синие ночи.

А когда он ей надоел, она к майору какому-то с Лубянки ушла. Или полковнику. Кажется, тоже старпер. Все «тугезы» заточены под старперов. Им с ними прикольно. Типа такие заботливые папашки. И в плане секса особо не нагнетают.

А у профессора теперь клин. То он от любви страдает, как Тристан и Изольда, то боится, что скоро умрет. Вера взяла и после него помыла полы, как после покойника. А он, хоть и говорит, что не суеверный, когда узнал об этом, начал за сердце хвататься. Где, говорит, мой валидол. Разве, говорит, можно так с живыми людьми обходиться.

Конечно, можно. Странный какой.

Да тут еще Люся. То есть примета на примету.

В общем, я смотрю на него и говорю – вы мне что-то сказать хотите? Потому что он губами шевелит, а звуков я никаких не слышу. Как будто оглохла или как будто немое кино. Только себя-то я слышу нормально. Не в голове же у меня мой голос звучит. И поэтому я опять говорю – не слышно. Что вы хотите? Может, у вас голос пропал? А он начинает шарить вокруг себя руками. Везде, куда дотягивается со своего кресла. Ищет что-то, наверное. Я говорю – вам подать что-нибудь? Вы скажите. Чего молчать-то? Я принесу. А он рот открывает, и – полная тишина. Фильм ужасов, блин, какой-то. И потом у него глаза начинают закатываться. Я смотрю на него и думаю – сбывлась, на фиг, примета. То есть сразу две.

Видимо, не стоило к нему заходить. Нашли бы его завтра, и всем было бы проще.

Хотя кто бы его нашел, кроме меня?

Але – говорю в трубку – скорая? Вы приезжайте скорей. А то у меня тут человек умирает. Я лично понятия не имею, что с ним делать, если он сейчас лапы склеит.

А на следующий день – вся эта кутерьма с книгами. Выбрать ведь практически невозможно. Интересно, для кого их столько печатают? Даже профессор, наверное, так много не прочитал. Короче, то в медицинский отдел зайду, то в «Живую природу». И продавщицы все такие ухоженные.

Про кошек очень интересные книжки. С иллюстрациями. Еле оторвалась – штук десять, наверное, пролистала. Но сильно большие. По медицине томики выносить гораздо удобней. Вернее, один томик. Потому что два сразу я ни за что в жизни не буду брать. Сама решила, что это плохая примета. Профессор однажды чуть реально не гикнулся, когда увидел, как я маслины беру. Банки три тогда было, кажется, или четыре.

Так что с тех пор – строго одно наименование. Эти штуки работают, я в них верю. Может, подольше поживет.

И обязательно надо во что-то верить. Профессор говорит, что хочет поверить в Яхве. Полдня мне однажды вкручивал на тему своей персональной избранности. А я ему говорю – вы же только наполовину еврей и не обрезаны, наверное, даже. Он говорит – ну и что. Все равно я в рай попаду. За меня другие евреи молятся. Я ему говорю – ну, давайте.

А теперь хожу из отдела в отдел и никак не могу решиться – что брать. То ли про кошек, то ли про болезни сердца. Да тут еще на весь магазин из динамиков рассказывают про известную во всем мире группу «Битлз». Таким вкрадчивым голосом.

Володьке лучше даже не знать. С ума сойдет, когда про эту книгу услышит. Дома на каждой стенке – по Джону Леннону. Все большие и все в очках.

В общем, я стою с книжкой про гепардов и слушаю песню.

А они поют: *«Конь тугеза. Райт нау. Оувами»*.

То есть клевая песня. Но непонятная. Я думаю – надо профессора про нее спросить. Он «Гамлета» читает в оригинале. Разберет, наверное, чего там про «тугезу» поется.

Но профессор отвечать на мои вопросы не захотел. Ему было интересно – зачем я принесла эту книгу.

Я говорю – как зачем? Нам же надо повадки их изучать. Как у них там чего, и так далее. Чтобы Люсю отучить вам на постель гадить. А иначе мы ни фиги не узнаем. И она будет продолжать делать свои дела. Вы разве сами меня об этом вчера не просили? До скорой еще. Он говорит – книги из магазинов воровать не просил. Я говорю – ну ладно, давайте, давайте. Я, между прочим, могла у них взять для Володьки книжку про «Битлз». Она, кстати, и размером удобней.

Он смотрит на меня и говорит – но это же книга про больших кошек. Тут только ягуары какие-то и леопарды.

А я говорю – ну и что? Вот вы интересный какой. Вам ведь вчера уколы тоже не кардиолог ставил. А просто врач скорой помощи. И что-то вы не стали его прогонять. Врач он и есть врач. С кошками та же история. А то размеры вдруг его не устраивают. И вообще, хватит уже привередничать. Я у своей врачихи в женской консультации узнавала насчет сердечников. Она говорит – в се вы капризные. Без исключения. Так что давайте лучше читать и искать полезную информацию.

И полезная информация пошла валом. Как на картине Айвазовского.

Выяснилось, что большинство кошек не любит воду. Значит, Люсю можно было либо а) утопить, либо б) сильно напугать, залив постель профессора водой из крана. Во-вторых, кисточки на ушах рыси служат не украшением, а антенной, и, если их обрезать, у нее сразу притупляется слух. То есть Люся с обстриженной на ушах шерстью, скорее всего, не услышит – встал профессор с дивана или он еще там лежит. И готов ее схватить, если что. Далее: каракал, живущий в Индии, а также в Иране, прыгает в середину голубиной стаи, которая кормится на

земле, и начинает размахивать передними лапами, сбивая уже летящих птиц. Как боксер. Следовательно, мы можем развесить по комнате на веревочках такие пушистые детские игрушки, и Люся будет отвлекаться на них, думая, что она каракал и что настало время охотиться, а не гадить.

Этот способ, кстати, мне нравился больше всего. Я представила скачущую на задних ногах Люсю и вспомнила, как отец однажды выпил с большого похмелья из водочной бутылки скипидар. Мама его туда налила, чтобы развести потом краску. Отец, конечно, его не выпил, а почти сразу весь выплюнул, но попрыгать на кухне хорошо так успел. Я потом видела по телевизору, как танцуют ирландцы. Очень похоже. У них, видимо, все спиртное как скипидар. Потому что от хорошей жизни так не запляшешь.

А еще у Володьки есть друг, который служил на флоте, и он рассказывал, что они так спасались от крыс. Подвешивали на веревке булку черного хлеба и спокойно спали всю ночь, пока крысы старались до нее допрыгнуть. Иначе, он говорил, запросто могли ухо отгрызть. Или нос.

Так что этот способ мне лично показался вполне прикольным. К тому же Люся позанималась бы физкультурой. А то сидит дома почти без движения. Только на диван да с дивана.

Но профессор сказал, что я дура и что вся эта книжка ему не подходит. А я ему ответила, что дом закрывается, ключ у меня, кто обзывается – сам на себя. И книжка ему подходит самым клевым на свете образом.

Вот смотрите, ему говорю. Страница семьдесят пять. «Состарившихся и больных львов прайд не защищает, а, наоборот, изгоняет. Одряхлевший лев, тощий и слабый, часто становится добычей гиен». Чувствуете, говорю – тощий и слабый? Никого не напоминает? Смотрим, что дальше. «Таков бесславный конец владыки зверей».

Он уставился на меня и говорит – ну и что?

Я говорю – как что? Бесславный конец владыки зверей.

Он говорит – ерунда. Все умирают.

А я говорю – но не всех изгоняет собственный прайд. Люся ходит вам на постель, потому что она вас изгоняет. Теперь это ее территория.

Он помолчал, а потом говорит – вот уж фигурки. Дайка мне сюда эту книгу.

И я дала.

Мы сидели молча минут десять. Он читал про своих львов, а я сталкивала Люсю с дивана. Потому что у нее стал вдруг очень задумчивый вид.

В конце концов он говорит – действительно, все на свете проходит. Даже жизнь льва.

Я говорю – а вы как хотели? Бесконечный праздник в джунглях?

Он говорит – львы в джунглях не живут.

Я говорю – а где они живут?

Он помолчал и потом отвечает – в зоопарке на Баррикадной.

А я говорю – ну да, только их там никогда не видно. Прячутся в своих норках. Им, наверное, неохота, чтобы на них смотрели.

Он еще помолчал, вздохнул и говорит – никому неохота.

А я думаю – ну, не знаю. Мне, например, нравится, когда на меня смотрят. Не в магазине, конечно. Где-нибудь в метро. Правда, из-за живота давно уже никто не оборачивается. Как отрезало.

Зато и на кассе не обращают внимания.

А профессор тем временем совсем загрузил. Сидит, мою книжку листает. Я думаю – ну да, все понятно. Листики, листочки, где вы, блин, те ночки. Интересно, когда он остановится? Потому что он ведь даже и не смотрел на все эти картинки, от которых я в книжном не могла оторваться. Просто перелистывал их одну за другой, как плохой Терминатор из второй части листает телефонный справочник. «Тугезу», наверное, свою вспоминал. Львиную охоту.

Я говорю – что-то вы загрустили. Принести валидол?

Он говорит – нет, не надо. Ты летку-енку танцевать умеешь?

Я говорю – а что это?

Он отвечает – танец такой. Вот так все встают паровозиком и начинают ногами то в одну, то в другую сторону. И потом прыгают.

Я говорю – прикольно. А тесно друг к другу встают?

Он говорит – практически прижимаются.

Я говорю – нет, я такой танец танцевать не умею. Тем более с животом. А вы это вообще к чему?

Он опять помолчал и говорит – я так с Володькиной мамой познакомился. Летку-енку танцевал в Академии имени Жуковского. То есть не совсем летку-енку, а вальс «На сопках Маньчжурии», но стояли вот так. Она впереди, а я сзади.

Я говорю – почему?

Он пожал плечами и говорит – в молодости с человеком происходит много странных вещей. С тобой происходят странные вещи?

Я говорю – о, до фига и больше.

Он говорит – вот видишь.

Мы посидели, и он опять загрустил.

Я говорю – а вообще-то все эти воспоминания ни к чему. От них только голова начинает болеть. И надо пить таблетки.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

Я говорю – хотите, я вам тоже про танцы историю расскажу? И про воспоминания.

Он молчит.

Я говорю – так вот, у нас дискотеку в школе вел Вовка Шипоглаз. То есть у него, наверное, была какая-то другая фамилия, но он в детстве взрывал с другими пацанами карбид. Знаете, они его насыпают в бутылку, а потом наливают туда воды и трясут. Можно после этого бутылку куда-нибудь бросить, и она там взорвется. Но они эту бутылку никуда не бросали. То есть вначале бросали, а потом им надоело, и они стали бросать ее друг другу. Бросают и ждут – у кого она в руках взорвется. Им интересно. Или в воздухе – пока летит. Вот. И взорвалась она в руках у этого Вовки, которого зовут, как нашего с вами Володьку. То есть Володьку зовут Володькой, а Вовку-диджея с тех пор зовут Шипоглаз. Потому что, когда бутылка у него в руках разорвалась, ему немного карбида в лицо попало. И он у него на лице шипел. Прямо на левом веке. И все закричали – смотрите, у Вовки глаз шипит. А потом стали называть его Шипоглазом. Понимаете?

Профессор говорит – я понимаю, только воспоминания мои здесь при чем?

Я говорю – вы подождите. Куда торопитесь-то? Сейчас будет про воспоминания. Потому что этот Вовка, когда вырос и вел уже школьную дискотеку, любил переводить в микрофон иностранные песни. То есть он их, конечно, не переводил, а говорил в свой микрофон всякую чепуху, потому что сам ни слова ни по-английски, ни по-какому другому не знал, но получалось всегда прикольно. И всем нравилось.

Профессор говорит – ну-ну.

Я говорю – да подождите вы со своим ну-ну. Больше всего Шипоглаз любил переводить Джо Дассена. Знаете, был такой французский певец.

Он говорит – я знаю.

Я говорю – ну вот, а у этого Джо Дассена есть такая песня, где он вначале долго говорит по-французски про что-то грустное, а потом начинает петь.

Профессор говорит – я догадываюсь, о какой песне идет речь.

Я говорю – вот видите. А Шипоглаз громче самого Джо Дассена наговаривал в это время свои собственные слова, и у него получалось примерно так – вот опять мы с тобой в этом парке.

Вокруг те же деревья. Те же качели раскачиваются на ветру. Те же аллеи. Те же дети бегают по опавшим листьям. Я помню, как из-под трамвая выкатилась голова, остановилась у твоих ног и сказала – вот и сходил за хлебом. А дальше Шипоглаз начинал петь вместе с Джо Дассеном – где же ты, и где искать твои следы?..

Я все это дело пою, а профессор смотрит на меня, смотрит, и потом вдруг как засмеется. Я говорю – вы чего?

Он говорит – сильный перевод. Практически наповал.

И продолжает смеяться.

А я думаю – чего он так хохочет-то? Прихватит опять сердце, и будем, как вчера, скорую вызывать. Может, не надо было ему про Джо Дассена рассказывать?

Он отсмеялся, а потом уставился на меня. Мне даже не по себе стало. Еще глаза такие навывкате. Пекинес, блин, а не профессор.

Я говорю – что?

Он смотрит.

Я говорю – зрение, что ли, решили проверить?

Он смотрит.

Я говорю – ладно, мне домой пора. А то Володька потеряет. Ругаться начнет.

И тогда он говорит – слушай, а зачем тебе это все?

Я встала и говорю – в смысле?

Он говорит – ну вот, ходишь сюда, еду носишь. Меня все ненавидят.

Я говорю – не все, а только ваши родные и самые близкие люди.

Он говорит – спасибо.

Я говорю – мне-то чего спасибо? Себе говорите. Но студенты ваши, например, вас не ненавидят. Им, скорее всего, на вас просто плевать. У них своих дел целая куча.

Он опять говорит – спасибо.

Я говорю – ну и чего вы заладили? Повторюша, дядя Хрюша.

Он говорит – смешно.

Но сам не улыбается. Думает о чем-то.

Наконец говорит – а тебе не наплевать?

Я говорю – мне нет.

Он говорит – почему?

Я подумала и говорю – потому что, если вы умрете, мне с Володькой будет уже не так прикольно.

Он говорит – поясни.

Я говорю – чего пояснять? Это он сейчас вас ненавидит, а умрете – начнет мучиться, как герой стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри». А мне скоро рожать. Врачиха сказала, что ребенку нельзя жить в тягостной атмосфере. Так что проще за вами ухаживать. К тому же вся катавасия с вашими похоронами свалится на меня. На кого еще? Вере Андреевне у нее в школе никто помогать не будет. В гороно даже на учебники денег давным-давно нет. Поэтому мне легче для вас колбаски в супермаркете наворовать, чем гроб в похоронном агентстве. Знаете, сколько теперь все это стоит? Венки-ленточки-цветочки.

Он смотрит на меня и молчит.

Я говорю – ну, я пошла.

Он говорит – до свидания.

Я говорю – и книжку я с собой заберу.

А в женской консультации на следующий день беременных было не протолкнуться. Праздник плодородия. Поэтому я заняла очередь и сразу пошла на второй этаж. Туда, где сидят кардиологи. Нашла кабинет, рядом с которым никого, залепила замочную скважину жеватель-

ной резинкой и стала ждать. Ни один врач не усидит в своем кабинете больше десяти минут, если к нему никто не заходит. Закон природы.

Моя просидела минут пять. Вышла такая, покрутила головой и стала ковырять ключом в двери. Без толку. Жвачка турецкая. Тягучая, как вареный гудрон. В детстве, когда его жевали, зубы иногда схватывало намертво.

Но обратно вернуться ей уже ни в какую. Засвербило. Обязательно надо куда-то идти. Я думаю – давай, давай. А я пока присмотрю за твоим кабинетом.

Она наклонилась раз шесть и зацокала по коридору. Шпильки после пятидесяти. Эта тетя если и работала тут специалистом по сердцу, то, скорее всего, по мужскому.

В кабинете у нее было прохладно. Я залезла на подоконник и закрыла форточку. Моя врачиха постоянно говорит – со сквозняками надо быть осторожней. Достала даже немного.

Когда спускалась на пол, уронила фотографию на столе. Неудобно, блин, с таким пузом. Сначала думала – внуки, а когда подняла, оказалось – кошка. Вот вам здрастье. На колу мочало, начинай сначала.

Что-то еще было в этой считалке, но я никак не могла вспомнить. Что-то до кола и мочала.

Неважно.

Я сдвинула стекло в книжном шкафу и стала перебирать книги. Хоть бы одно знакомое слово. Сами-то понимают – чего написали? Неужели не бывает простой книжки с объяснением, как откачать человека с сердечным приступом? На что ему там давить и куда дышать, в какое отверстие. На занятиях по медицине, кажется, объясняли, но кто будет слушать их лекции?

Так, а что это вы, интересно, тут делаете – говорит вдруг сзади меня чей-то голос. Я оборачиваюсь, а там эти шпильки. Озабоченные. И голубая седина. Паричок, разумеется.

Вот так быстро вернулась.

Я говорю – как что? Книги смотрю.

Она уставилась на меня и говорит – какие книги?

Я говорю – вот эти. Мне нужно.

Она помолчала, а потом делает так немного странно рукой – а ну-ка, говорит, вон отсюда, как вы смеете.

Я говорю – да пожалуйста. Только не надо на меня тут орать. Я в положении.

И иду к двери. Но она стоит прямо у меня на дороге.

Совсем обнаглели – мне говорит.

Я отвечаю – ой, ой, ой.

И не могу мимо нее пройти. Потому что она весь выход загородила. А я тоже большая теперь.

Извините, говорю, но из-за вас мне не выйти. У меня живот. А у вас дверь почему-то широко не открывается. Наверное, за ней что-то стоит.

Она делает шаг вперед, прикрывает за собой дверь, а там – теремок из зеленой ткани. И сбоку такое круглое отверстие.

Она наклонилась, чтобы подвинуть его, а я говорю – ничего себе, это для кого красота такая?

Она хмыкнула и отвечает – для моего кота. Чтобы возить к ветеринару.

Я говорю – это не тот ли бурманский котик шоколадно-кремового окраса, который на фотографии? Очень славный.

Она посмотрела на меня и подняла брови – а вы что, разве знаете о бурманских котках?

Я говорю – конечно. У меня у самой такой же. То есть такая. Вашего как зовут?

Она смотрит еще недоверчиво, но сама уже отвечает – Кристоаль Дюк Вондерфлер.

Я говорю – а мою зовут Амирель Кристи. Хотели назвать Эмманюэль, но потом решили, что слишком чувственно.

И мы начинаем с ней так мило беседовать. Умереть не жить – две йоркширские розы. Божий одуван на шпильках и раздувшийся василек.

Не путать с василиском.

Через десять минут эта Алла Альбертовна сообщает мне, что Люсе, скорее всего, нужен кот. Поэтому она и ходит профессору на постель. Сигнализирует. То есть не Люсе, а Амирель Кристи нужен кот. И котят можно поделить поровну. А если нечетное количество, то нам на одного больше.

А вы как думали – говорит она. По сто, сто пятьдесят долларов.

Я говорю – сколько-сколько?

И вечером мы с профессором приезжаем на Чистые пруды. А пока идем вдоль катка, он без конца говорит, что ему неудобно. В прихожей у Аллы Альбертовны натываемся на мешок и в темноте почти падаем.

Она говорит – это мука. Проходите сюда, пожалуйста. На всю зиму решила купить. Вернее, на рынке выменяла на ваучеры. Все равно непонятно, что с ними делать. Вы свои как пристроили?

И мы проходим. А там этот Кристобаль. Смотрит на нас круглыми глазами и ждет, когда мы ему из сумки достанем Люсю. У нас ведь нет такого домика, как у Аллы Альбертовны. То есть он ждет, когда мы ему достанем Амирель. Но Амирели-то у нас тоже нет.

Поэтому Алла Альбертовна смотрит на Люсину голову, которая появилась из сумки, но вся выскакивать не спешит, и говорит – так это же не бурманская кошечка.

Я говорю – а вы разве не знаете, как надо определять стандарт? По цвету глаз. Специалисты рекомендуют подносить животное к окну, и самым лучшим освещением для этого считается свет, отраженный от поверхности снега в зимний день. Где у вас тут самое большое окно?

Не знаю, правда, от цвета каких глаз она в конце концов успокоилась. То ли Люсиных в крапинку, то ли печальных профессорских. Хоть и слегка навывкате. Я ведь заметила, как она сделала на него садку. В той книжке, которую профессор отказался читать, по этому поводу писали, что в играх представителей семейства кошачьих всегда присутствуют элементы полового поведения. Алла Альбертовна шпильки носила тоже не просто так.

Та еще когда-то была пантера.

А Кристобаль вообще, похоже, плевать хотел – бурманская Люся или не бурманская. Он завалился на свою подушку рядом с диваном и самым наглым образом придавил на сон. Как будто мы пришли на Аллу Альбертовну посмотреть. А Люсю с собой для прикола взяли.

Мне кажется – говорит эта кардиолог – нам надо оставить их наедине. При людях они стесняются. Вы не поможете надеть мне пальто?

Я думаю – как это, интересно, можно во сне стесняться? Тем более если ты – кот.

А профессор уже держит для нее пальтишко. Галантный такой – просто сил нет.

Что-то не помню, чтобы он Вере когда-нибудь хоть что-то вот так держал. Про себя вообще не заикаюсь.

И на бульваре тоже придерживал ее за локоток – будьте внимательны, Алла Альбертовна, здесь скользко. Осторожней, Алла Альбертовна. Позвольте, я помогу.

Как будто я сзади них ехала на гусеничном тракторе. И обо мне с этим животом можно совершенно не беспокоиться.

А гололед на самом деле был – хоть стой, хоть падай. Народ, в принципе, хлопался пачками. И на катке их тусовалось прилично. Фонарики, музыка – все дела. Катаются, тоже падают, смеются.

Мои старички притулились на какой-то скамейке, а рядом целая орава завязывает коньки. Профессор дождался, пока они отвалили на лед, и говорит – а помните, Алла Альбертовна, какие здесь были катания в начале шестидесятых годов? Помните, тогда в моду вошли такие толстые свитера?

Я думаю – ну все. Началась программа «Голубой огонек».

Уважаемые телезрители, сейчас по вашим многочисленным просьбам выступит певец Иосиф Кобзон и вся его шайка.

Она говорит – да, да, разумеется. Я сама носила такой. Ворот ужасно кололся. Конечно, помню.

И пошло-поехало. Что где стояло, чего снесли, в каких кафе отдыхали, какое было мороженое и как ездили загорать.

Как будто сейчас никто больше загорать не ездит.

Наконец, добрались до какой-то Елены Великановны и приуныли. Совсем повесили нос. Но потом снова ожили. Заспорили – ходило тогда метро до Войковской или нет. Сошлись, что нет.

И вот тут профессор вспомнил про свою енку.

Я думаю – нет, только не это. А он говорит – вставайте, вставайте все за мной. И мы как дураки встали. А я уперлась пузом в спину этой Аллы Альбертовны.

Она говорит – крепче держитесь за меня.

Я думаю – ну да, конечно. Только руки-то у меня не такие, как у гориллы. Там же еще между нами живот.

Профессор кричит – сначала левой ногой, а потом правой.

Алла Альбертовна говорит – да нет, все наоборот.

Я думаю – вы уж там разберитесь. А то сейчас все брякнемся.

И дети какие-то к нам подъехали. Перестали играть, стоят у кромки льда со своими клюшками, на нас смотрят.

Потому что мы интереснее, чем хоккей.

Профессор говорит – раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать.

И мы начинаем прыгать.

Я думаю – разрожусь.

Алла Альбертовна подхватывает – славная, милая, смешная енка всех приглашает танцевать.

И мы делаем ножкой.

Когда эти мальчишки перестали смеяться и уехали, мы расцепились. Минуту, наверное, дышали на лавочке как паровозы. А я прислушивалась, как он толкается.

Удивился, наверное.

То есть, может, это и девочка, но я почему-то говорю «он». Наверное, потому что «живот».

Вы знаете, Алла Альбертовна, – говорит профессор – там текст несколько иной. Не «всех приглашает танцевать», а «нас». В оригинальной версии поется – «нас приглашает танцевать».

Я говорю – в се это, конечно, здорово. Но вы ни о чем не забыли? Или мы приехали сюда юных хоккеистов смешить? Будущую гордость канадских клубов.

Старички притихли, но потом все-таки поднялись и побрели назад.

А я думаю – интересно, как там Люся?

И зря, в общем-то, беспокоилась. У Люси все было в полном порядке. Она растянулась на ковре Аллы Альбертовны как у себя дома и даже головы не подняла, когда мы вошли. Спала, как безмятежное дитя на картине художника Репина. Не помню, правда, рисовал ли он спящих детей.

Неважно.

Важно, что Кристоаль этот сидел рядом с ней – весь такой заботливый муж, и на нас посмотрел как на пустое место. То есть у него теперь было что с чем сравнить. И мы в его глазах явно проигрывали.

Алла Альбертовна смотрит на все это и говорит – Боже мой.

А профессор ей тут же – Алла Альбертовна, не беспокойтесь, ничего страшного.

Она повторяет – Боже мой.

Я думаю – надо же, какая попалась набожная.

Она в третий раз говорит – Боже мой – и опускается прямо на пол.

Профессор хватает ее под руки и кричит мне – Дина, доставай у меня из левого кармана валидол.

Я ему говорю – о ну вас не в кармане, а в сумке, в которой мы Люсю несли. Вы ее оставили в прихожей.

Он кричит – ну так носи ее сюда скорей. Не видишь, что тут творится?

Я возвращаюсь в прихожую, перешагиваю через всякую ерунду, а по дороге оборачиваюсь и смотрю, как за мной остаются следы. На ковре, потом на паркете – вообще везде. Ужасно красиво.

Я иду и думаю – вот это любовь. После такого Люся точно должна успокоиться. Мне бы, во всяком случае, хватило надолго.

Потому что квартира Аллы Альбертовны была похожа теперь на столицу Югославии город Белград после налета американской авиации. Люся с Кристобалем не занимались своими делами, видимо, только на потолке. Поэтому люстра и уцелела.

А еще они распатронули зачем-то мешок с мукой, который Алла Альбертовна выменяла на свои ваучеры, и по всей квартире теперь лежал толстый красивый слой почти настоящего снега.

Как в детстве под елкой на Новый год. Только там он был из ваты и таким бугристым комком. А тут – ровненький и везде. Даже на кухне.

Вот ваш валидол – говорю я профессору. Может, еще чего-нибудь принести?

Он говорит – нет, пока ничего не надо.

Я думаю – да, не повезло Алле Альбертовне, что именно рядом с ее кабинетом не было очереди. Зато Люся теперь перестанет какать профессору на постель.

Но у самой Люси на этот счет оказались другие планы.

Профессор с каждым днем грустил все сильнее, а Люся гадила ему на одеяло все чаще. Чтобы уберечься от нее, ему, наверное, надо было уже вообще не вставать. Лежать, как египетская мумия в музее имени Пушкина, и вздыхать по своей ушедшей жизни. Но он зачем-то ходил в институт, где ему уже давно не платили зарплату, и читал там свои лекции, которые никому не были интересны.

А Люсе этих уходов вполне хватало.

Мы пробовали запирать ее в туалет – там, где стоял лоток с газетами, – но она поднимала такой крик, что два раза прибежали соседи. В первый раз они подумали, что кто-то истязает ребенка, а во второй раз сказали профессору, что подадут на него в суд.

Я им ответила – подавайте, но профессору все равно стало плохо. Как только он пришел в себя, его заинтересовало – откуда взялась эта сумочка и всякие медицинские инструменты. А я ему сказала, что в поликлинике, кроме Аллы Альбертовны, врачей еще полным-полно, и у каждого, между прочим, свой кабинет. Когда он спросил – как я привела его в чувство, я ответила, что пусть это его не волнует.

Вам знать не надо – говорю. Вы и так много знаете.

Он смотрит на меня, морщится сначала, потом улыбается и говорит – ты прямо Экклезиаст.

Я говорю – да нет. Просто много будешь знать – скоро состаришься.

Но ему становилось все хуже. Я уже всерьез начинала бояться, что во время следующего приступа моя новая книжка окажется бесполезной. Надо было срочно принимать какие-то меры.

А может, нам снова к Алле Альбертовне съездить? – говорю я ему. Потанцуем енку на Чистых Прудах. Я у нее в прихожей новые обои поклеила. Тяжело, между прочим, с таким животом.

Он говорит – да, очень интересная женщина.

Я говорю – ну так как?

Он вздохнул и отказался. Надо – говорит – иметь мужество принимать обстоятельства такими, как ты их заслужил.

Я говорю – в ы это где вычитали, такую военную хитрость?

В мемуарах графа Суворова?

А на следующий день предложила ему позвонить его беглой «тугезе».

Это обстоятельство – говорю ему – вы ведь, кажется, тоже заслужили. Взяли ее штурмом, как русские войска крепость Измаил. Помните анекдот про директора школы?

Он говорит – нет, не помню и не хочу его знать, и даже думать не смей никуда звонить по телефону.

Я говорю – я и не по телефону могу. Запросто можно сесть на метро и доехать. Она ведь у этого старпера с Лубянки живет. Ой, простите.

Он говорит – да, да, именно у старпера. Только, если ты туда отправишься, я пойду за тобой и столкну тебя в метро прямо на рельсы.

Я говорю – да ладно вам. Не столкнете.

Он помолчал, посмотрел на меня и потом говорит – нет, правда, столкну. Вот увидишь.

Я говорю – ну и пусть тогда Люся валит вам на постель. Тоже мне, Терминатор нашелся. Терминатор-обосратор.

Потому что мне вдруг стало очень обидно. Очень-преочень.

И я сказала – в гробу я видела таких толкальщиков. В белых тапочках.

А он говорит – твоя речь изуродована идиомами и затасканными метафорами. Ты пуста и банальна, как все эти устойчивые сочетания, порожденные плебейской культурой. И в голове у тебя один мусор.

Я говорю – за мусор ответите.

Он говорит – пошла вон.

После этого не виделись дней, наверное, пять. Я без конца спрашивала Володьку – почему у него отец такой дурак, а он пожимал плечами и опять утыкался в свою новую книгу. Я ходила по комнате и говорила ему, что «Битлз» меня достал, но он снова пожимал плечами.

В конце концов решила заскочить к профессору. Ровно на одну минутку.

А то вдруг он уже там того. И никто ничего не знает.

Но он был совсем не того. Даже наоборот.

Вы зачем водку-то пьете? – я ему говорю. С ума, что ли, сошли? Делать нечего?

А он мне – а-а, это ты, кладезь народной мудрости. Хочешь, я тебе тоже считалочку расскажу? Есть одна про меня. Как будто специально написана.

Я говорю – какая?

Он встает на ноги, покачивается и говорит – шишел-мышел, этот вышел. И показывает на себя.

Я говорю – слишком короткая. Не знаю я этой считалки. Вы бы лучше в зеркало посмотрели. А еще профессор.

Он говорит – я не профессор, а старпер. И чего это, интересно, я не видел в твоём зеркале? Нет там меня. Я «шишел-мышел-этот-вышел». Володька бы сказал – вне игры. Смотрит еще футбол?

Я говорю – смотрит. И читает про «Битлз».

Профессор говорит – он такой. С ним надо ухо держать востро.

Потом как засмеется. Вот видишь – говорит – и я от тебя заразился. Припал к источнику народной иносказательности. Эзопов язык для бедных. Шуточки, прибауточки.

Я говорю – может, хватит водку-то пить?

Он отвечает – а кто здесь пьет? Здесь у нас таких нету. Не наблюдается.

Я говорю – ну, давайте, давайте. Вот возьму и вылью все что осталось в унитаз.

Он зажмурился и говорит – я возвращаю молодость.

А я ему – вы знаете, у меня отец тоже по этому делу. Любит молодость возвращать.

Профессор смотрит на меня и качает головой – ничего ты не понимаешь, нелепая девушка. Знаешь, что сказал Оскар Уайльд?

Я говорю – и Оскара Уайльда я тоже в гробу видела.

Но он продолжает – так вот, порывистая глупая девушка, этот замечательный ирландский писатель сказал, что снова стать молодым очень легко. Нужно просто повторить те же ошибки, которые совершил в молодости.

Я говорю – клево. Тогда я, видимо, вообще не состарюсь, блин, никогда.

Он смотрит на меня, долго о чем-то думает и потом начинает кивать – слушай, а может быть. Почему нет? Вполне возможно. Что, если действительно не прекращать делать ошибки? Тогда ведь не придется их повторять. Все в первый раз, который просто растягивается во времени. Это же замечательно. Послушай, смешная беременная девушка, ты – настоящий Эйнштейн. Пришла и открыла новый закон относительности.

Я говорю – чего это вы там бормочете? И не надо, пожалуйста, меня так называть. Какая, блин, я вам девушка? Я Дина.

А он говорит – ну пошли, Дина, совершать ошибки. Есть у меня на примете одна.

И пока мы с ним брели, спотыкаясь и поскользываясь, до метро, и потом, уже в вагоне, я все пыталась сообразить, что он задумал. То есть какие это ошибки он совершал в молодости. Пьяный такой.

Но в голову мне ничего особенного не приходило.

Сначала я думала, что он хочет выкинуть какой-нибудь номер в метро. Раздеться, например, догола или пописать. Всякие бывают приколы. Но он спокойно дождался поезда и, как все нормальные люди, вошел в вагон. Там тоже ничего, в принципе, не случилось. Засмотрелся на какую-то пожилую тетечку, и я уже напряглась, чтобы вытащить его на следующей станции, но он только подмигнул ей, сказал – чувиха – и тут же уснул.

А я сидела рядом с ним и, в общем, не понимала, что делать. Я же не знала, где он хотел выйти, чтобы совершить эту свою ошибку. Да тут еще мелкий внутри стал пинаться.

До меня начало доходить, когда профессор мой резко вскочил и бросился в открытые двери. Я со своим животом еле успела выбежать за ним.

В смысле, я еще не догадывалась, что он задумал, но мне уже было понятно – где.

Когда вышли на улицу из метро, я ему сразу сказала – может, не надо?

А он говорит – ты задаешь серьезный вопрос. Это вопрос стратегический, как бомбардировщик.

Я говорю – поехали лучше назад.

Он делает шаг, снова поскользывается, чуть не падает, ловит меня за рукав и начинает смеяться.

Я говорю – ну и чего смешного?

Он говорит – гололед.

Когда Вера открыла дверь и увидела нас с ним таких тепленьких на площадке, ее чуть кондрат не хватил. Я даже успела подумать – хорошо, что на профессоре с его приступами натренировалась. Если что, Веру тоже быстро к жизни верну.

Но у нее сердце как у чернокожего участника марафонского бега. Заколотилось – и пошло как часы. Хватит еще на сорок километров. Тук-тук, тук-тук.

Алла Альбертовна на такую пациентку, наверное, не нарадовалась бы.
Она смотрит на нас и говорит – что хотели? В дом не пущу.
Я думаю – нормально. Как это – не пущу? Я, между прочим, живу здесь.
Профессор молчит и мотает головой.
Вера скрестила на груди руки и усмехнулась – ну что, напился как поросенок?
Он застегивает свой плащ на все пуговицы, смотрит на меня, потом на нее и, наконец, говорит – Вера, я хочу сделать тебе предложение. Выходи за меня замуж. Еще раз.
Я думаю – ни фиги себе. Так он про эту ошибку молодости мне говорил?
А Вера стоит столбом и ничего не отвечает.
И вообще мы все трое вот так стоим.
Объяснение в любви, на фиг.
Наконец она говорит – пошел вон. И закрывает у нас перед носом дверь.
Профессор разворачивается и начинает спускаться. А я почему-то иду следом за ним.
Как будто меня тоже прогнали.
И, главное, я не понимаю – почему мы идем пешком. Лифт же работает на полную катушку.
Внизу он останавливается и говорит мне – зато я попробовал.
Я говорю – ну, в общем, да.
Мы еще постояли, и он говорит – ты возвращайся. Зачем ты-то со мной пошла?
Я говорю – я не знаю. Пошла зачем-то.
Он поправил мне воротник и улыбнулся – иди. Тебе надо отдыхать. Когда у тебя срок?
Я говорю – после Нового года.
Он говорит – вот и отпразднуем.
Я говорю – да, да.
А на следующий день я к нему пришла, и у него дверь открыта. Я удивилась. Захожу, а там – тишина. На кухне никого нет. И в комнате на диване – тоже. Потом смотрю – он выглядывает из туалета и манит меня рукой. И палец к губам прижимает. Я заглянула туда, а там Люся. Сидит у себя в лотке и хвостом подрагивает.
Профессор мне шепчет – надо же, как странно все вышло. А я ему в ответ тоже шепотом – вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить.
Он смотрит на меня, улыбается и говорит – это уж точно.

Рахиль. Часть первая

На этот раз она назначила встречу на каких-то похоронах. Дома ей после свадьбы не сиделось, она твердила, что не хочет унылых вечеров перед телевизором, не собирается кинуть, а на кафе и на рестораны денег у меня не было уже давно. К тому же публика в этих заведениях по всей Москве бесила сильнее, чем безденежье, – малиновые пиджаки, гордые потомки хазар, новые русские.

Старым русским поначалу еще оставались музеи, выставки и театры, но скоро и там замелькали отвратительно дорогие костюмы. Ну, и словечки, разумеется. Способ общения.

«Слышь, это».

«Что?»

«Баксы когда вернешь?»

«Не нагнетай, брат. Будет время – будут и баксы».

В любом случае все теперь сводилось к деньгам.

Так что Наташе пригодились ее смекалка. Или сумасбродство. Смотря как назвать. Потому что молодость сама по себе – отклонение. Девиациями тут никого не удивишь. Природа фертильности, лосось, идущий на нерест, *morituri te salutant*. Вечные гладиаторы.

Но ты-то уже проходил это все. Лет тридцать назад, не меньше. Уже и цезарь на пенсии, которому ты салютовал. И мучается с простатой. Даже арены той нет в помине. Бурьяном заросла.

Тем не менее бегаешь козликком на свидания – то в заснеженный парк, то к заброшенной бензоколонке. Теперь вот на похороны.

Впрочем, никто ведь не заставлял. Была семья, был Володька. Была Вера.

Квартира оказалась огромной. Обойдя все комнаты, включая ту, где стоял гроб, Наташи я не нашел. Собравшиеся косились в мою сторону, однако прямо спросить, кто я и зачем, никто из них не решился. Интеллигентные люди. Да и повод для собрания такой, что неловко проявлять любопытство. Хотя особо горюющих я там не заметил. Все молчаливые, чинные, но никаких слез. Видимо, утрата была ожидаемой. Одна старенькая вдова в черном платье потерянно сидела в углу, и на лице ее читалось, что жизнь – вот такая, как она теперь есть, со всеми этими входящими в комнату и что-то негромко говорившими ей людьми – смысла для нее имеет уже немного.

– Вы на кладбище поедете? – строго спросила меня породистая дама в кофте из темного мохера. – В автобусе все места уже расписаны.

– Я на своей машине, – зачем-то соврал я.

Судя по величине квартиры, по обстановке, по лицам и общему тону собравшихся, покойный принадлежал к старой номенклатуре. Серьезные вопросы тут уже давно не решались, но атмосфера стояла гнетущая. И я бы не сказал, что из-за похорон.

– Еврей? – неожиданно спросил меня мужчина, сидевший на кухне с рюмкой в руке.

– Нет, – не сразу ответил я. – Просто так выгляжу. Наследственное. А что?

– У всех наследственное, – вздохнул он и выпил. – У нас раньше в контору евреев не брали. При Андропове одно время собирались, но потом заглохло. Покойный вам кем приходился?

– Никем. Дальние родственники жены.

– Николай, – сказал он и, не вставая, протянул мне руку.

– Святослав, – ответил я, шагнув от стены.

– Не еврейское имя. Хотя Ростропович тоже вон Святослав.

Мне стало совсем неловко – он перепутал Ростроповича с Рихтером, но я решил промолчать.

– Может, на ты? – предложил он, наливая себе еще водки. – А то чего как неродные? Ты, кстати, в курсе, что при монголо-татарском иге дань для орды собирали еврей-откупщики из Крыма? У Карамзина прочитал.

В отличие от всех остальных в этой квартире, мой неожиданный собеседник не был интеллигентен, однако в начитанности отказать ему я не мог.

– Туки-туки, Лена! – раздался детский крик из прихожей, и сразу же вслед за этим сильно хлопнула входная дверь. – Я – первый!

– Господи! – задыхнулась дама в мохнатой кофте, заглянувшая было к нам на кухню. – Зачем они детей привели? И дверь входную нельзя закрывать! Нельзя! Откройте ее немедленно!

За ее спиной показался мужчина с бледным лицом.

– Это Филатовы, – сказал он. – Им не с кем детей оставить. Сейчас я отправлю их во двор.

– Нечестно! – послышался второй детский голос. – Ты на лестнице подножку мне сделал. Я первая прибежала!

Потом в прихожей тихо забубнили взрослые голоса.

– Не пойду!.. – в последний раз крикнула девочка, и после этого все стихло.

Через минуту на кухню вошли родители изгнанных детей. С мороза у них горели щеки.

– Здравсьте, – шелестящим шепотом поздоровались они с нами.

Мама была совсем молоденькая. Чуть старше моих студенток. И очень красивая. Она заметно нервничала из-за детей.

– Холодно так сегодня, – сказала она.

– Это хорошо, что холодно, – тут же откликнулась дама в кофте. – Чувствуете? Никакого запаха. А если бы летом хоронили, уже знаете какой запах бы стоял. Никакая хвоя не помогает.

Я потянул носом воздух. В квартире пахло свежеструганым деревом и квашеной капустой. Хотя капусты на столе не было. Закусывали блинами.

– Пахнет, пахнет, – сказал Николай. – Это просто ваш мозг не хочет замечать. Защитная реакция. Вы, девушка, выпейте водки. Тогда тоже перестанете обращать внимание. Он капустный такой пока еще запах, но потом будет хуже. Покойный вам кем приходился?

От второй рюмки она отказалась. У меня, вообще, сложилось впечатление, что ей было довольно противно. И водка, и кухня, и похороны, и все мы. Ее передернуло, когда она допила. И кожа на шее покрылась мурашками. Там, где свитер не закрывал. При этом слушала она вовсе не нас, а то, что происходит на улице. Куда прогнали ее детей. Но к окну ей было уже не подобраться. Все как-то плавно перетекли на кухню. Никто в комнату с покойником уходить не спешил. Молча курили, смотрели, как сигаретный дым змеится в открытую форточку. Давно не случалось такой холодной зимы.

– Мне больше нельзя пить, – сказала она, когда Николай все же налил ей вторую рюмку. – У меня завтра зачет. Я буду готовиться. Мне водку нельзя.

– Ну и плохо, – сказал он и выпил из ее рюмки тоже.

Она действительно была красивая. Особенно для заочницы. Очное обучение исключалось. Причины мерзли внизу во дворе. А может быть, и не мерзли. Бегали взад и вперед по детской площадке и орала на весь двор. Во всяком случае, она очень прислушивалась, чтобы уловить эти их крики.

Но для заочницы она, конечно, была перебор. И взгляд, и поворот головы, и тонкие нервные плечи. Там плечи все-таки обычно другие – у тех девушек. Помассивней. И поспокойнее. Поэтому приходилось во время их сессий брать больничный.

А смысл? Смотреть в их преданные глаза? И видеть – какой для них это шанс. Потому что время уже уходит, вернее, практически ушло, но они теперь себе чего-то придумали – что все еще может быть, ничего не пропало, и что-то где-то у них забрезжило, и что частью этого просвета оказываешься вдруг для них ты.

На первых порах, может быть, и волнует. Но не потом. Не после двадцати пяти лет в институте. Четверть века за лекторским столом освобождает от сочувствия к неудачникам. К тем, кто на обочине. Потому что, в принципе, ты сам уже с ними. Дружная компания в придорожной пыли.

От этого неподдельный интерес к игрокам основного состава – как сказал бы Володька. В диапазоне от двадцати до двадцати пяти лет. Максимально допустимый возраст совпадает с твоим педагогическим стажем. Но это ничего. Определенные созвучия допустимы. Потому что ведь плечи, и поворот головы, и дыхание. И вообще.

Я смотрел на эту заочницу и думал – куда запропастилась моя собственная красавица? Я зря, что ли, отменил пару и заявился на эти похороны? Сама же меня заставила. Не успел даже продиктовать задание на следующий семинар. Как ветром всех сдуло.

– А что это вы тут все столпились? – сказала небольшая траурная старушка, входя на кухню. – Проходите в комнату. Надо у гроба. Там почти никого нет.

Я представил, как все мы протискиваемся вдоль длинного ряда табуреток, стучаясь коленками о гроб. И сколько раз тот, кто лежит в нем, протискивался точно так же. И стучал коленкой.

Мать в детстве объясняла, что выпадающие во сне зубы – это к смерти. И сразу спрашивала – кровь была? Беспокоилась за родственников. Еще часто снилось, что иду по грязи. В одних носках. По глубокой и жирной. Вокруг хлюпает и темно. Когда просыпался, всегда думал – лучше бы босиком. Почему в носках? При этом с возрастом – все чаще. И все реже – обнаженные женщины. К сожалению. Впрочем, множественное число неуместно. Они всегда приходят поодиночке. Никаких оргий. Скромное соитие «сингулярис». Хотя интенсивнее, конечно, чем наяву. Но ни разу с двумя. Видимо, Блок ошибся. Не азиаты мы. И где эта восточная кровь, которая дремлет у меня в венах? Обидно. Впрочем, теперь уже все равно. Даже поодиночке приходят редко. Позабыли верного друга мои суккубы. К молодым сбежали в упругие сны. Нет, в любви никому нельзя верить.

Я поднял взгляд от венков, от этих белых рук у покойного на груди и посмотрел на Николая. Он сидел прямо напротив меня. Между нами – труп. Скорби в Николае не ощущалось. Он подмигнул мне и кивнул в сторону двери. Я тоже взглянул туда.

* * *

– Ненавижу похороны, – сказала Наташа, когда мы вышли в подъезд.

В квартире она пробыла в общей сложности не более минуты. Заглянула в комнату с гробом, постояла с унылым лицом на пороге и кивнула мне, чтобы я вышел.

– Твоя же была идея.

– Ну да, – она кивнула, вынимая сигареты, и застыла с одной между пальцами, в ожидании, пока я зашевелюсь.

Я стал шевелиться. Зажигалка нашлась почему-то во внутреннем кармане пиджака. Наташа успела два раза вздохнуть и сделать глазами.

– Ты опоздала. Я торчу тут уже полчаса. И к тому же никого не знаю.

– Это не страшно, – она красиво выпустила дым и слегка откинула голову. Смотрела на меня, как молодая львица, вернувшаяся с охоты.

– Где ты была?

– Слушай, не будь занудой. Я давно не твоя дипломница. Смотри, как подстригли.

Она повертела головой в разные стороны. Я, видимо, должен был отметить новую стрижку с самого начала. Поэтому теперь подлежал наказанию.

– Классно?

Сверху на меня что-то капнуло.

– Да, нормально. – Я посмотрел в просвет между лестничными пролетами, но ничего там вверху не увидел.

– Нормально?!

Она ткнула меня кулаком под ребра.

– Эй, осторожней! Больно!

Сверху на плечо опять что-то капнуло.

– Еще не так получишь!

Дверь, которую я прикрыл, чтобы нас не было слышно, вдруг распахнулась и стукнула меня по спине. Из квартиры выглянула дама в темном мохере.

– Я же просила не закрывать! Вы с ума сошли? – зашипела она. – В доме покойник.

– Простите, – я не очень понимал, как надо извиняться в такой ситуации, поэтому зачем-то приложил палец к губам.

Видимо, хотел показать, что мы тут негромко.

Дама осуждающе качнула породистой головой, а затем исчезла. Наверное, пошла проверять зеркала – все ли они покрыты. Наташа усмехнулась и уронила окурков на кафельный пол.

– Так все-таки для чего мы здесь? – я смотрел на нее и ждал ответа.

Она вынула еще одну сигарету из синей пачки и медлила, пока я не щелкнул зажигалкой.

– Мне надо кое-что тебе рассказать.

– Здесь? На похоронах?

Сверху на меня опять что-то капнуло. Я поднял голову и увидел изгнанных на мороз детей. Только они были не на морозе, а этажом выше. И оттуда плевали на меня.

– Эй! – закричал я. – Ну-ка прекратите!

Детские головы засмеялись и тут же исчезли.

Я хотел побежать наверх, но в этот момент из квартиры вышел Николай. Он встал по центру лестничной клетки и с большим значением посмотрел на нас. Монументальность его выхода исключала погоню за мелкими негодяями. Он явно ждал чего-то. Я развел руками и указал на Наташу.

– Знакомьтесь, это моя жена.

Неловкость вынудила сказать первое, что пришло в голову. Он не сводил с меня глаз.

– Я знаю, – кивнул он.

– Знаете? – я позабыл о плевавшейся ребятне. – Откуда?

– Ненавижу похороны, – выдохнула дым Наташа. – Когда я умру, пусть меня сожгут...

– Подожди... Вы что, знакомы с моей женой?

– Или вообще отвезут куда-нибудь в лес... И там оставят под деревом.

– Подожди, Наталья! – я схватил ее за плечо.

– Да, мы знакомы, – наконец сказал Николай. – Мы с ней встречаемся, когда у тебя лекции. Иногда у вас дома, иногда у меня. Как получится.

– Стойте... – я вытянул вперед руки. – Это что? Вы так шутите?.. Если честно, мне совсем не смешно.

– Я ухожу от тебя, Слава, – твердо сказала она, дав каблуком недокуренную сигарету. – Я ухожу от тебя к нему. Прости, но я не могла сказать это дома.

Я смотрел на них и не знал, что говорить. В голове абсолютная пустота. И в животе немного щекотно. Как на качелях. Хотя давно уже не качался.

Внизу вдруг кто-то завыл. Я перевел взгляд на площадку между этажами и увидел этих детей. Не заметил, как они просочились между нами. Мальчик, закрыв глаза и сложив на груди руки, сидел на нижних ступенях. Голова его опиралась на решетку перил. Девочка стояла рядом с ним на коленях и выла дурацким голосом.

– Что это? – проговорил я. – Что происходит?

Николай пожал плечами:

– В похороны играют, наверное.

* * *

В таком возрасте не спать ночь – уже не шутки. В три часа начинает тошнить от папирос, а утром, выйдя на улицу, не узнаешь мир. Что-то блестит под ногами, во рту противно, голова болит, и в целом удивительно – зачем тебе это все в твоём возрасте. Потому что ты, в общем-то, давно не куришь.

И тут тебе еще говорят, что нет. Что все-таки лучше с ним. Что так будет хорошо для нас обоих. И ты успеваешь подумать: «для нас» – это для кого? Для меня с ней или для нее с ним? Или для него со мной, потому что прекратится вся эта ерунда и непонятность? А может, и не прекратится.

И ты говоришь – ага, только это мои пластинки. Зачем ты их туда понесла? Обойдется без моих пластинок. Будете заниматься этим в тишине. Не под моего Элвиса Пресли.

В таком возрасте не спать целую ночь – привет здоровью.

И тут вдруг ты думаешь – а какого, собственно, «хэ» ты не ложился?

– У вас мешки под глазами, – сказала Дина, поворачиваясь от балконной двери.

Ей нравилось смотреть на снег, который только что выпал. Но теперь пришлось смотреть на меня. Не та уже чистота, что у свежего снега, однако белизна еще будет. В окружении венков и цветов. Если самому заранее по всем вопросам подсуетиться.

А кто еще побежит по этим похоронным делам? Сейчас уже некому.

– У вас мешки.

– Да-да, а у тебя живот.

Она улыбнулась и погладила себя по этому шару. Большой круглый шар. Как в самом начале романа Жюль Верна. Они летели на нем через океан, а потом шар лопнул, и они попали на остров капитана Немо. Где он сидел со своей подводной лодкой. Как будто вылупились из этого шара. То-то обрадовался капитан.

– Кого ждете?

– Не знаю, – она пожала плечами. – Денег на УЗИ нет. И в очереди долго сидеть, а я часто в туалет бегаю. Но Володька хочет мальчишку.

– Володька всегда много хочет.

Год назад, например, ему хотелось, чтобы я умер. Так и сказал: «Чтоб ты сдох». Импульсивный мальчик. Впрочем, не знаю, как бы я сам себя вел, если бы мой отец отколол такой номер.

– Наталья Николаевна сказала мне постирать...

– Она тебе звонила? – я даже не дал ей договорить.

– Да, вчера вечером. Пришлось сказать Вере Андреевне, что звонил однокурсник.

– Вчера вечером?

Значит, заранее все было решено. Даже насчет стирки побеспокоилась. А говорила, что ей нужно время.

«Не мучай меня. Я сама запуталась. Мне надо решить».

До утра времени попросила. А сама вечером уже позвонила Дине, чтобы я тут не сидел один с грязным бельем. Как Кощей Бессмертный. Интересно, кто ему стирал, когда от него уходили жены? Или не уходили? Что-то он там прятал от них в своем хитром яйце, и они из-за этого с ним оставались.

– По форме живота можно определить, – сказал я.

– Да? – у нее глаза стали круглые.

– Только я не помню, какая форма что должна означать. У тебя какая форма?

Она встала напротив зеркала и прихватила рукой широкое платье сзади. Живот обозначился, как гора.

– Большая форма, – сказала она. – Очень большая.

– Значит, девочка.

– Почему? – она, не оборачиваясь, смотрела на меня в зеркало – как я там сижу сзади нее на диване и даже рукой от усталости пошевелить не могу.

– Потому что вам, девочкам, всегда больше всех надо.

* * *

На самом деле я точно знал, кто там сидит у нее в животе. И дышит через пуповину.

– Пойми, – сказала по телефону Люба. – Все твои проблемы оттого, что ты наполовину еврей. И твой сын наполовину еврей. И твой внук... Или это будет внучка?

– Не знаю, – ответил я. – У них нет денег на УЗИ.

– Вот видишь. Ты даже не знаешь пол своего внука.

– Я знаю, что это будет наполовину еврей.

– Ха! – коротко выдохнула она на другом конце провода.

Я, собственно, женился на ней когда-то из-за этого «ха!». Она, разумеется, не хотела и сопротивлялась, потому что она никогда ничего не хотела и всегда сопротивлялась, но я был очарован этим звуком. Не мог ничего поделаться. Хотя разница в возрасте составляла почти десять лет. Не в ее пользу.

А может, наоборот, в ее.

Потом, когда уже пожилы вместе и я говорил о ней кому-то другому, меня всегда удивляла массивность слова «жена». «Моя жена ставит чайник на крышку сковороды, когда жарит курицу». Или – «у моей жены точно такое же платье». Как будто говоришь о великане. А на самом деле ее платье всегда было на три-четыре размера меньше того, которое обсуждалось. И полный чайник был слишком тяжелым для ее руки. Но такова природа слов. Некоторые из них придуманы для маскировки. Поэтому требуется усилие, когда говоришь «жена». Чтобы не воспринимать это как другие. Те, кто ее не видел.

– Ты где там? – прозвучал ее голос у моего уха. – Уснул?

– Я здесь, – вздохнул я. – Можно с тобой увидеться?

– Вот еще! Будешь плакаться на свою разбитую жизнь? Неудачники меня не интересуют.

Плюс, конечно, глаза Рахили. Куда без них? На один звук «ха!» я бы, наверное, не повелся. Во всяком случае, не так бесповоротно. Но тут уж взвырало. Как у Иакова рядом с колодецем. Который забыл, что где Рахиль – там и Лаван.

– Как твой отец? Не согласился еще ехать в Америку?

– Я еду без него. Он умер.

– Очень жаль.

– Не ври. Ты всегда его ненавидел.

– Я?

– Да, ты! Антисемит несчастный.

Она помолчала и потом добавила:

– Можешь зайти. Только учти – у нас похороны.

Вот так. Значит, и здесь меня поджидала сюжетная рифма. Как в случае с моим педстажем и возрастом Натальи. Тем самым возрастом, которого надо достичь, чтобы заманить меня на какие-то чужие нелепые похороны и сказать: «Я ухожу от тебя».

А до этого специально подстричься. И стоять там в этом подъезде с сигаретой в руках. И смотреть на меня. И говорить: «Я ненавижу похороны», и еще: «Я хочу, чтобы меня сожгли».

А я не хочу. Вообще не хочу умирать. Я не хочу, чтобы меня сжигали.

У Любиного отца на эту тему имелся большой сдвиг.

«Ни в коем случае не в крематорий!»

Это когда ему было меньше, чем мне сейчас.

«Папа, вам еще рано говорить об этом».

«Еврею никогда не рано говорить о крематории. Ни ему самому, ни его близким. Пора бы уже понять, молодой человек!»

Любу бесили эти разговоры, но она молчала. Слишком густая кровь. Из Сибири приехали только в начале шестидесятых. И тут как раз подвернулся я. Со своей первой главой диссертации о Соле Беллоу в рваном портфельчике. Мечтал съездить в Америку и познакомиться лично. Просто хотелось пожать руку. Но им тогда было не до Америки.

Забайкалье, Приморский край. Захолустные городишки. Кажется, какой-то Бодайбо.

Сослали еще до войны, когда разгоняли хасидское духовенство. Люба родилась уже там. Хорошо, что тетя ее отца была санитаркой в отряде Лазо. Из-за этого Любу принимали в пионеры на берегу Амура. Рядом с памятником героям Гражданской войны. Генеалогия, в конце концов, важна при любом режиме. И галстук ей повязывал секретарь райкома. Склонялся по очереди к этим кнопкам, трясущимся на холодном ветру. Шесть русых головок и одна темная. Люба смотрела на него и шурила от солнца черные, как две маслины, глаза. Неумело заслонялась салютом. На Иакова он, наверное, не был похож.

Ее двоюродную бабушку звали Лена Лихман. В семье к Лазо относились с симпатией. Не потому, что Лена Лихман была у него санитаркой, а потому что его сожгли.

Люба в Приморье подружилась с хулиганами. У них она научилась курить «Беломор», не сминая гильзы, плевать через зубы, шелкать пальцами и говорить звук «ха!». Для меня этого набора оказалось более чем достаточно. Даже когда Беллоу объявили сионистским писателем, я долго не горевал. За полгода написал диссертацию о пессимизме Фицджеральда и продолжал, не отрываясь, смотреть в эти глаза Рахили. Первая глава о Беллоу так и осталась первой главой.

Но вскоре она назвала меня антисемитом. Как-то вдруг неожиданно сошла с ума и заявила, что не станет со мной спать, если я буду «непокрытым». Я не хотел заниматься любовью в шапке, и все это закончилось некрасиво.

Сначала я думал, что она просто чересчур увлеклась этими делами – Йом-Киппур, Рош ха-Шана, Талмуд, но потом как-то ночью открыл глаза и увидел у нее в руке нож. Выяснилось, что в меня вселился диббук, и от него необходимо избавиться. У диббука даже было имя. Ахитов бен Азария. Он сидел у меня внутри и снова планировал восстать против царя Давида. Моя Рахиль хотела его остановить. Она не любила предателей.

Со временем кризис у нее прошел, и в больнице ее держали совсем недолго, но по возвращении она все же побрилась наголо и заявила, что будет носить парик.

В общем, мы прожили вместе всего полтора года. Моя Рахиль осталась неплодна, и после нее наступило время Лии. Хотя в Пятикнижии, кажется, было наоборот.

* * *

– Койфман, ты никогда не знал священных текстов, – с казала Люба, глядя на меня в зеркало огромного шкафа. – Выучил всю свою глупую литературу, а настоящих книг в руках не держал. Кому они нужны, эти писатели? Они все выдумывают.

– Слушай, а может, я все-таки сяду за стол без головного убора?

– Не в моем доме, – отрезала она и протянула мне соломенную шляпу своего умершего отца.

– Какая-то она легкомысленная, – сказал я, глядя на свое отражение.

– Ха! Папа никогда не был легкомысленным человеком. Это просто у тебя лошадиное лицо.

– Лошадиное?

Я посмотрел на себя внимательнее.

– И еще ты катастрофически постарел, Койфман. Просто скукожился.

Я перевел взгляд на нее. Она едва доставала мне до плеча. Такое ощущение, что раньше была повыше. И лицо покрылось морщинами. Но глаза все те же.

– Ты знаешь, мне жутковато смотреть в такое большое зеркало, – сказал я. – У тебя есть что-нибудь поменьше? Мы ведь подбираем шляпу, а не весь гардероб. Нет чего-нибудь такого, где помещается одна голова? Чтобы только лицо отражалось.

– Я не могу пустить тебя в другие комнаты. Там люди. И у них у всех на головах что-нибудь есть. Мы тут, между прочим, хороним моего отца.

– Я помню.

– А ты пришел в своей ободранной зимней ушанке. Может, ты в ней хочешь сесть с другими людьми за стол? Чтобы на меня потом вся Америка показывала пальцем? Смотрите – это та самая Люба Лихман, у которой на похоронах отца сидел человек в ушанке. К тому же он ее бывший муж, – она замолчала на секунду и перевела дыхание. – Я тебе тысячу раз повторяла – купи нормальную шапку. Нельзя ходить с кроликом на голове. Даже если ты всего лишь наполовину еврей.

– Средства не позволяют. Ты же знаешь, в институте зарплату никому не дают уже семь месяцев.

– Поменяй институт.

– Ситуация везде одинаковая.

– Поменяй страну. Сколько можно твердить, Койфман, – нельзя быть таким пассивным. Ты же профессор, в конце концов!

Я снова посмотрел на себя в зеркало и усмехнулся.

– Профессор, – повторил я следом за ней.

Она выстрелила в меня темным взглядом и хотела что-то добавить, но потом все-таки промолчала.

– Вот эта, наверное, подойдет, – сказала она, вынимая из шкафа темно-зеленую фетровую шляпу. – Надень.

– Я не могу в ней сидеть, – возразил я. – Это шляпа дяди Гарика.

– Конечно, это шляпа дяди Гарика. Ну и что? Почему ты не можешь сидеть в его шляпе?

– Он меня ненавидел.

– Послушай, – о на устало опустила руки. – У меня сегодня был очень тяжелый день. Я занималась стряпней, я встречала гостей, я готовилась к тому, что придешь ты и у меня начнутся неприятности. Пойми, тебя ненавидело столько людей, что уже должно быть все равно, если на голове у тебя вдруг окажется шляпа кого-нибудь из них.

Я надел старомодный убор и посмотрел в зеркало. Оказалось вполне. Дядя Гарик любил выглядеть импозантно.

– А помнишь, как он упал со стула? – сказал я. – Говорил о чем-то важном, раскачивался и так размахивал руками. А потом – хлоп! – и лежит на полу. Мы так смеялись.

– Я не смеялась.

– Ты смеялась.

– Я повторяю тебе – я не смеялась.

– Да ладно, перестань. Я же помню, ты чуть не лопнула от хохота. А бедный дядя Гарик лежал с такими испуганными глазами, и в руках у него была вилка.

Люба старательно хмурила брови, делала строгий вид, но в итоге не удержалась. Когда я взмахнул невидимой вилкой, она все-таки улыбнулась.

Я снова посмотрел в зеркало.

– Что еще? – насторожилась она. – Других больше нет. Или в этой – или идешь домой.

– Да я не о том... Ты права, мы постарели... Видимо, жизнь прошла.
– Ха! – с казала она. – Студенткам своим мозги забивай про это. Жизнь прошла только у моего папы.

Люба помолчала и махнула рукой.

– Хватит. Пошли к остальным. А то выдумают про нас неизвестно что.

* * *

– Я так люблю, когда вы рассказываете, – мечтательно поежилась Дина. – Даже мурашки бегут. Смотрите.

Она потянула вверх рукав платья.

– Вот, видите? Расскажите еще.

Я встал с кресла и подошел к окну.

– Это длинная история. Уже поздно, совсем стемнело. Тебе пора домой, а то Володька забеспокоится. Странно, что он не позвонил до сих пор.

– Он никогда вам не звонит.

– Ну да... Хочешь, я тебя провожу?

– Я сама, – сказала она и с трудом встала с дивана. – Мне еще в магазин надо.

– Могу не подниматься... Только до подъезда – и обратно в метро.

– Не надо. Володька все равно из окна увидит и потом будет кричать... А мне из-за этого уснуть трудно. Я так нервничаю, как дура, когда он кричит, и ребенок в животе полночи шевелится. То пятка, то локоток. Я один раз, кажется, коленку нащупала.

Мы помолчали.

– Ну, пойдем, – сказал я. – Мне надо папиросы купить. До магазина с тобой дойти можно?

– А вы что, курить начали?

На улице опять шел снег. Вокруг фонарей вращались мохнатые конусы. Некоторое время мы шагали молча, прислушиваясь к тому, как под ногами скрипит. Первой заговорила Дина.

– Мне кажется, Любовь Соломоновна права, что ругает вас за Наталью Николаевну...

– Господи! Перестань называть ее Натальей Николаевной! Она всего на два года старше тебя.

– Но... она ведь ваша жена...

– Ну и что! Я тоже пока не ископаемое! Мне всего пятьдесят три года. В Америке, между прочим, всех людей называют по имени. Независимо от возраста. Даже стариков...

– И насчет Америки Любовь Соломоновна, мне кажется, тоже права...

– В каком смысле?

Я даже остановился.

– Что уезжает. И вам надо с ней.

– Мне?! Ты понимаешь, что ты несешь? В какую Америку? У нас даже разговора с ней на эту тему не было!

– Она вас любит.

– Кто?!!

– Любовь Соломоновна.

Я долго смотрел на нее, не в силах сказать хоть что-нибудь.

– Слушай... – наконец выдал я. – Ну ты даешь... Ты-то что в этом понимаешь?... Так, все! Идем в магазин!

Я взял ее за рукав пальто.

– Идем! И не говори больше ни слова. Чтобы я даже полслова от тебя не слышал! Поняла?

Идешь молча.

– Поняла.

Она улыбнулась и неожиданно поцеловала меня в щеку.

«Интересно, когда я брился в последний раз?» – мелькнуло в голове. Впрочем, я тут же отмахнулся. Не хватало еще беспокоиться из-за этой девчонки. Пусть она даже насквозь беременна и ждет ребенка от моего сына.

Вот ведь разговорилась.

Не стоило рассказывать ей про Любу.

* * *

В магазине было как в рассказе Хемингуэя – чисто и светло. Длинные ряды стеллажей уходили куда-то к дальней стене, возле которой маячил одинокий охранник. Из четырех касс работала только одна. За нею сидела увешанная пластмассовыми браслетами очень худая и смуглая девушка лет двадцати. На синей форменной куртке белел бейджик с именем «Елена». Когда мы с Диной вошли, она скользнула по нашим фигурам безразличным усталым взглядом и снова опустила глаза на свои кнопочки.

Глядя на нее, я вспомнил, что мне тоже надо работать. Точно так же тяжело и усердно. Через полгода в издательстве должна лежать моя книга по античному символизму. Со всеми сносками, курсивами и симпатичными вставками мелким шрифтом. Студенты обожают обводить их карандашом.

– У вас есть «Беломор»? – спросил я, пропуская Дину в торговый зал.

Девушка махнула рукой в сторону ряда сигаретных пачек, приклеенных на сером щите справа от нее. «Беломора» там не было.

– Спасибо, – с казал я. – А какие из этих самые дешевые?

Она оторвалась от созерцания своей кассы и посмотрела на меня с откровенной тоской.

– Там все написано, – проговорила она секунд через десять.

Небольшая задержка сигнала. Как в космосе.

– Вы знаете, я отсюда не вижу. У меня плохо со зрением.

Она pokrutila головой. Очевидно, искала кого-нибудь еще, чтобы разбить нашу внезапную пару. Почувствовала недостаток симметрии. Вернее, ее отсутствие. В качестве космонавтов мы вряд ли попали бы с ней в один экипаж.

Но, кроме Дины и охранника, в магазине никого не было. Наш спускаемый аппарат был рассчитан лишь на двоих. «Джемини» – так назывался американский космический корабль, о котором все вокруг говорили двадцать пять лет назад, когда я познакомился с Любой и ее отцом. Видимо, американцы хотели улететь в созвездие Близнецы.

Так что напрасно теперь эта девушка вращала головой. Близнецы – это все-таки чаще всего двое. Тем более что мы были похожи как две капли воды.

Оба совершенно несчастны.

– Не могли бы вы... – заговорил я и тут же осекся.

Дина, стоявшая в пяти метрах от нас, начала складывать какие-то банки в карманы своего огромного пальто. До этого просто стояла и рассматривала этикетки, а теперь начала набивать карманы. Заметив мой взгляд, она улыбнулась мне и, ни на секунду не прекращая своих действий, показала жестом, чтобы я продолжал разговаривать с кассиршей.

С моим однояйцовым близнецом. С моим сотоварищем по яйцу Леды. В котором я, конечно, был далеко не Поллукс. Ибо бессмертие положено лишь красивым и сильным.

От этих мыслей по спине веером побежали мурашки. К тому же я впервые участвовал в ограблении магазина.

Прекрасная Елена, заметив мой неподвижный взгляд, начала медленно, как в американских фильмах ужасов, поворачивать голову.

Выбора у меня не осталось.

– Не могли бы вы рассказать об этих сигаретах?! – выпалил я, едва не схватив ее за подбородок. – Подробней, пожалуйста! Во всех мельчайших деталях. Меня интересуют нюансы!

Такого она точно еще не слышала. Теперь у нее за спиной можно было проехать на танке. Или на лебеде пролететь.

«Интересно, что скажут в деканате, – подумалось мне, – если не удастся ее отвлечь?»

– Вон те, например, желтенькие! – продолжал выкрикивать я. – Какое в них содержание никотина?

Девушка посмотрела на меня, потом на сигареты и покачала головой:

– Вас же вроде цена интересовала...

– Да-да, интересовала. Но теперь я забочусь о своем здоровье!

Дина показала из-за спины кассирши большой палец.

О, Зевс! Бессовестная воровка одобряла мою импровизацию.

– И сколько в них содержится смол?

– Чего?

– В сигаретах всегда присутствует определенный процент смол.

– Я не знаю... Вы будете брать или нет? Мне других покупателей обслуживать надо...

Я понял, что сейчас она повернется в сторону Дины.

– А вы сами, лично, какие предпочитаете? – в панике выпалил я. – Вы вообще курите, девушка?

Она посмотрела на меня как-то по-другому.

– Курю, а что?

Я чуть было не сказал: «Давайте тогда знакомиться». Но удержался. Хотя в голову лезла уже всякая чушь.

– Курю, – повторила она. – А что дальше-то?

– Дальше? – переспросил я, глядя за ее спину.

Дина закончила наконец свой набег и размеренными шагами приближалась к нам.

– Дальше – тишина, – сказал я. – Почил высокий дух... О радость! Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа.

– Что-о-о?

Глаза у нее стали совсем круглые. Практически как браслеты.

– Пакетик лаврового листа, – безмятежно сказала Дина, подойдя к нам.

– Сто рублей, – медленно проговорила кассирша, не сводя с меня глаз.

– А, пожалуй, не надо никаких сигарет, – небрежно сказал я деревянным голосом и направился к выходу.

Шаги, правда, были не очень твердыми. Как у космонавта после долгого времени на орбите. Или у Кастора после девяти месяцев в скорлупе. Как будто только что вылупился.

Хотя неизвестно, сколько там у Леды протекала эта ее птичья беременность.

* * *

В первый раз сердце прихватило так сильно, когда Володька сломал руку. Вера не успела сходить к нему в школу на родительское собрание, потому что проводила в это время точно такое же у себя, а у сына сменился классный руководитель. На следующий день новая дама стала сверять журнал. Когда дошла до Володьки, все графы у него оказались пустые.

Имя с фамилией прошли гладко. Работа родителей тоже не удивила ее. Проблема возникла с национальностью.

Володька сказал, что он русский.

В конце концов, ему было лучше знать. Человек имеет право на самоопределение. Я иногда чувствую себя эскимосом. А бывает – индусом. Зависит от радости бытия.

Однако учительница посмотрела в журнал и громко прочитала только что записанную фамилию. Очевидно, решила бороться с неправдой. При всем классе. Которому, в общем, надо совсем чуть-чуть.

Закончилось во дворе позади школы. Володька так и не рассказал, с кем он там дрался. Перелом получился довольно сложный, поэтому делали операцию. А я пытался тогда впервые бросить курить.

Зато узнал кое-что про футбол. Володька до этого ждал целый месяц какой-то бразильский матч, но операцию делали именно в день игры. Я пообещал ему все рассказать – кто там куда бежал, кого удаляли и в какие забивали ворота. Потом сидел весь вечер у телевизора, курил одну за другой, хватался за сердце и записывал в тетрадку незнакомые мне фамилии. Вера ругалась на мои папиросы, заставляла пить валидол, плакала, собиралась куда-то звонить насчет поступка своей коллеги, но в итоге позвонила лишь в скорую. Утром в травматологии мы сидели с Володькой на его кровати, и я повторял из тетрадки неясные для меня слова «офсайд», «хавбек», «свободный удар», а он улыбался сквозь боль, морщился и опять улыбался. Ему было понятно все, что я говорю.

Но когда возникла Наташа, он перестал меня понимать. Просто сказал: «Я хочу, чтоб ты умер».

А я навсегда запомнил, как звали одного из тех футболистов. Улыбчивые бразильцы с пляжа Копа-Кабана. Карнавал, самба, Жоржи Амаду, коктейль «Куба Либре».

Его звали Сократес. Огромный, как башня, бородатый философ в желтой футболке и зеленых трусах. Бил по воротам и все время смеялся.

Впрочем, это было давно.

А теперь я вышел из магазина. Точнее – выполз. Ноги почти не шли.

* * *

На улице стало еще хуже. Перед глазами качались темные пятна, в ушах шумело, руки уплыли куда-то в стороны в поисках, за что бы им уцепиться. Я сипел и задыхался, как утопающий.

– Классно все получилось! – воскликнула Дина, догоняя меня.

Впрочем, «догоняя» – это избыточная дефиниция. Скажем – «сделав два крохотных шага от двери магазина».

Который мы с ней ограбили, между прочим.

Потому что более чем на два шага я пока рассчитывать, в принципе, не мог. Это все, на что я был способен в смысле побега. В смысле стремительного исчезновения с места событий.

– У меня слабое сердце, Дина...

– Получилось просто отлично!

– Я не ворую в супермаркетах...

– И охранник ничего не заметил!

– Ты могла хотя бы предупредить?..

– Но вы же сами запретили разговаривать! Сказали, что даже полслова не хотите от меня слышать. А я как раз собиралась вам сказать...

– Не ври, пожалуйста! Слушай, не ври! Ты что, меня принимаешь за идиота?

Я вдруг разозлился на нее и сразу почувствовал себя лучше. Слабость почти прошла.

– Безмозглая дура!

– Так нельзя обзывать.

– Тупая, глупая дура!

– Я сейчас уйду и брошу вас прямо здесь. Останетесь тут сидеть, и никто вас до дома не доведет!

Я посмотрел вокруг и понял, что сижу на асфальте. И на голову мне падает крупный снег.
– Поднимайтесь. А то сейчас выйдут из магазина и начнут спрашивать. Руку давайте.
Я уцепился за ее ладонь, и она, как рыбак свою добычу, вытащила меня на поверхность.
Еще один ловец человеков. Вокруг все плыло и кружилось. Хотя, возможно, это был просто снег.

- Сильная, – сказал я.
- Я в детстве на карате ходила.
- У тебя детство еще не закончилось...
- Чемпион Московской области в технике ката.
- Лучше бы ты продолжала ходить на свое карате.

Дина обошла меня, как припорошенную снегом тумбу, и попыталась отряхнуть пальто сзади.

– Одной рукой плохо получается, – пожаловалась она. – А двумя не могу. Банки вывалятся.

- Тогда пошли, – сказал я и сильно качнулся, едва не опустившись снова на тротуар. Асфальт под ногами ходил крепкой морской волной.

– Я же не для себя, – протянула Дина каким-то чужим голосом. – Мне надо Володьку кормить. И маленькому в животе нужны витамины. Зарплату не дают восемь месяцев, я уж не говорю про стипендию. А декретные мы проели.

- Надо было у меня попросить... – мой голос тоже перестал быть знакомым.
- У вас у самого холодильник пустой. Я вам позавчера колбаску приносила.
- Тоже ворованная?

– А где мне деньги взять на такую? В вакуумной упаковке. В магазинах совсем недавно появилась. Бельгийская и французская. Да и на обычную у меня денег тоже нет. К тому же я ее не люблю. Она с жиром. Противная.

- А если поймают?

– Они на беременных не смотрят. Я давно заметила. Еще когда на пятом месяце была. Как только живот появился, сразу перестали смотреть. Так что нормально... Ну? Пойдемте домой? – она заглянула мне в лицо. – Говорила же, не надо было идти.

Рядом с нами остановился прохожий. Володькин ровесник или чуть постарше.

- Вам помочь?

На его месте я бы тоже без конца останавливался и предлагал помощь. Хитрость ведь не в том, что действительно сострадаешь сырым и убогим. Все дело в чувстве превосходства.

Ходил бы и навязывался всем подряд. Потом весь вечер отличное настроение.

- Нам ничего не нужно, спасибо. Оставьте нас в покое.

У него от моих слов лицо перестало быть симпатичным. Нестрашно – в его возрасте можно быть и с таким лицом. Одно компенсирует другое. Несимпатичное лицо – зато симпатичный возраст. Во всем важен баланс. Иногда везет как сейчас, и баланс восстанавливаешь ты, а не кто-то другой. Тоже вполне приятный момент. Можно сказать – миссия погибающего злыдня. Ибо в мире должно царить равновесие.

- Вы белый совсем, как простыня, – сказала Дина, когда мы вошли в квартиру.

Вернее, ввалились. Чуть не уронили этажерку в прихожей.

- И пот бежит по вискам.

– Ты что, звуковой медицинский журнал? – выдавил я, опускаясь на тумбочку для обуви. – Озвучиваешь симптомы?

- Это сердце, – уверенно сказала она. – Я проходила по медицине.

- Что получила на экзамене?

- Еще не сдавали. Сессия через два месяца.

- Вот и не болтай. Сдашь – тогда будешь ставить диагнозы.

После валидола стало полегче. Люблю его вкус. Раньше, помнится, были конфеты «Холодок». Питался ими, когда заканчивал диссертацию о Фицджеральде. Перед защитой пришлось переписывать всю вторую главу. Аспирантские деньги на еду кончились. А так – дешево и сердито. Иногда, правда, тошнило.

– Любовь Соломоновна права – не надо было вам уходить от Веры Андреевны, – сказала Дина, усаживаясь в кресло напротив моего дивана.

– Ты опять начинаешь. Я же просил...

– Нет, не опять. Это совсем другое. С вашим сердцем Вера Андреевна самое то. Она умеет ухаживать. Поэтому Любовь Соломоновна на вас так сердится. Ей просто вас жалко. Был ведь уже один инфаркт.

– Мне самому себя жалко.

– И Володька бы тогда не злился на вас...

– Да, наверное, не злился бы.

– Ему просто обидно за мать.

Я повернул голову, чтобы посмотреть на нее.

– Это он сам ее так называет?

– Как? – она непонимающе смотрела на меня.

– Мать.

– Нет, – она даже слегка засмеялась. – Он говорит «мама». Это я так сказала, чтобы было быстрее.

Я полежал и подумал – быстрее ли говорить «мать», чем «мама». У меня получилось, что не быстрее. Количество слогов не имеет значения. У нежности иная скорость.

– Как она там? – спросил я.

– Грустит.

Я помолчал. Приступ вины трудней переносить в молчании. Каждый из нас должен быть наказан соразмерно.

– Скажи... Наташа тебе звонила?.. Наталья Николаевна?.. – Звонила.

– Передавала что-нибудь для меня?

Она ответила не сразу.

– Мне кажется, вам лучше забыть о ней.

– Слушай, мне уже пятьдесят три года, – сказал я. – Сам как-нибудь разберусь.

– Ну, не знаю... Мне кажется, лучше не надо.

Дина с усилием поднялась из кресла и направилась в коридор.

– Я оставлю вам маслины, – крикнула она оттуда. – Вы какие любите, светленькие или черненькие?

– Забери все.

Она опять заглянула в комнату:

– А вы, кстати, на того парня обратили внимание?

– На какого парня?

– Который хотел вам помочь. У магазина.

Я помотал головой:

– Как-то не до него было.

– Странно... Он очень похож на вас. Прямо вылитый. У вас с Любовью Соломоновной были дети?

– Нет.

– А я бы сказала, что он ваш сын.

– Слушай, хватит выдумывать.

– Ну... она ведь могла родить уже после развода с вами. Откуда вам знать – была она беременна или нет.

– Дина, прошу тебя.
– Нет, ну вы узнайте у нее. Такое случается. Ходишь-ходишь, хоп – а у тебя второй сын. Здорово же.
– Маслины свои забери.
Она улыбнулась и наконец исчезла.

* * *

Когда вас бросают, опору надо искать в себе. Нельзя умолять о встрече, нельзя убеждать, нельзя выяснять причины. Телефон лучше всего разбить – в этой бездонной трясине он самое топкое место. Но я не сумел. Просто снял трубку, набрал номер и промычал: «Я больше так не могу. Можно мне увидеть тебя? Хоть ненадолго».

Мотив унижения в моем возрасте звучит уже не так остро. Мелодия складывается из других нот.

Тем более что телефонный номер был оставлен как раз на такой случай. То есть мне обещали, что «я поживу пока у мамы», но телефон на стене написали именно этот. Не из маминых цифр.

– Я же тебе говорила – звони только в крайнем случае, – сказала она.
– У меня крайний.
– Сердце?
– В каком-то смысле – да. Можно назвать это сердечной проблемой.
– А валидол?
– Я пробовал. Не помогает.

В итоге решено было взять меня в кино. В темноте мое присутствие меньше оскорбляло их чувства.

Мы решили, что так будет происходить мое постепенное отчуждение. В брехтовском смысле. Чтобы я смог по-новому взглянуть на ситуацию. Ну и чтобы мне стало полегче.

Забота о старших.

Хотя в этом смысле теперь ей было о ком заботиться и без меня.

– Ну, ты чего? – сказал Николай, когда я сел к ним в машину. – Совсем, что ли, раскис? Мне вон тоже почти пятьдесят, а я, смотри, какой бодрячок. Ты спортом каким-нибудь занимаешься? Потрогай.

Он перегнулся через спинку сиденья и согнул перед моим лицом руку в локте.

– Давай-давай. Трогай. Видал, какой бицепс? Бетон.

Я прикоснулся к его кожаной куртке. Зеркальце у него над головой отразило мое движение. В зазеркалье оно было не таким неловким. Просто одна рука потянулась к другой руке. Как у Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы.

В детстве на эту тему бегали во дворе и хлопали по плечу друг друга. «*Теперь ты водишь!*»

Передача эстафеты. Стремление к спорту заложено в человеке очень глубоко.

– Нет, я ничем не занимаюсь. Я много курю.

– Ну и зря. А я по субботам – всегда в бассейн. И еще спортзал.

Наталья смотрела на нас и умиротворенно улыбалась.

За билеты заплатил Николай. Я сделал движение к кассе, но он жестом остановил меня.

– Ты зарплату свою давно получал, профессор? Помнишь еще, как она выглядит?

Я сделал вид, что хотел просто рассмотреть афишу. От этого, якобы, и возникло движение. В конце концов, эстафета была уже у него.

Хотя штамп в паспорте еще оставался.

– Слушай, нам надо с тобой о разводе поговорить, – с казал Николай, когда мы шли по проходу между рядами.

– Не сейчас, – шепнула Наталья. – Давайте садитесь скорей.

А я от самого входа думал – как мы усядемся. Спрячется она от меня за него или сядет между нами? Вариант, что я буду сидеть между ними, практически отпадал. К чему было тогда городить весь этот огород с изменой и переездом на чужой телефон, в котором нет маминых цифр? Даже маминых черточек в нем нет. Хотя обещалось.

Она села на место 15. Он – на 16. Я опустил сиденье 17. В сумме составило 48. Всего на пять лет меньше, чем мне. От перестановки слагаемых сумма, разумеется, не менялась, но я эту перестановку с удовольствием бы осуществил.

Будь я тот бородатый Господь с потолка Сикстинской капеллы.

И разверз бы кое перед кем геенну огненную. Чтобы корчился там со своим шестнадцатым стулом.

Или семнадцатым.

Потому что мы точно друг друга стоили. Собственного ребенка ни один из нас в таком возрасте ни за что в кино бы не заманил. С нами сидел чужой ребенок. И каждый из нас думал о том, как бы с ним переспать. То есть с ней. То есть это я думал. Николай шуршал руками в карманах куртки.

– Жевательную резинку будешь, профессор? – сказал он, нащупывая мою ладонь в наступившей темноте.

– Тихо вы! – шикнула на нас Наталья. – Как дети малые.

Я закрыл глаза и представил ее воспитательницей детского сада, а нас с Николаем – двумя хулиганами из старшей группы, которых она в педагогических целях привела на детский сеанс.

Желание возлечь с нею от этого не прошло.

В следующее мгновение в зале зазвучала музыка, и сквозь закрытые веки я уловил всполохи света. Фильм начался. Я до сих пор так и не знал – как он называется.

Николай снова пошуршал оберткой жевательной резинки и молча вложил мне в руку гибкую полоску. Не открывая глаз, я поднес ее к лицу и почувствовал запах мяты. Очень сильный. Практически как в детстве.

* * *

Такой чай пила только бабушка. Остальные либо ругались с ней и пили свой чай без мяты, либо делали вид, что пьют из ее чайника, а сами тайком выливали содержимое стаканов в открытое окно. Прямо на клумбу, где росли георгины. Все хотели пить чай в чистом виде. Без примесей. Но бабушка упрямо заваривала мяту каждый раз, как мы приезжали к ней из Москвы.

После смерти Сталина приезжали особенно часто. Взрослые пили водку, курили на открытой веранде, говорили, что не надо будет теперь уезжать из Москвы насовсем и что скоро вернут всех арестованных евреев. Когда уходили с веранды, в комнатах начинался какой-то неясный шорох, возня и приглушенный смех, а бабушка включала свет на кухне и начинала заваривать свой чай.

«Видишь? – говорила она. – Листики заворачиваем вот так. Слышишь, как пахнет? А теперь – кипятком».

Я следил за ее движениями, морщил лоб, втягивал носом воздух и размышлял – почему это я должен слышать запах. Ведь он попадает не в уши, а в нос.

«Все на свете должно быть смешано, – продолжала она. – Мята с заваркой, каша с маслом, картошка с луком, хлеб с чесноком. Если семена не смешать с землей, то цветов не будет. Еще

нужен солнечный свет и дождь с неба. А если смешать синюю краску с желтой, то получится зеленый цвет. Понимаешь? Все должно быть смешано».

«А люди?» – поднимал я голову от дымящейся кружки.

«И люди. Твой папа смешался с твоей мамой, и получился ты».

«Как зеленый цвет?»

Она улыбалась, ставила передо мной тарелку с блинчиками и говорила:

«Ну да, как зеленый цвет. Только не торопись. Чай еще горячий».

Я сворачивал блин и заталкивал его целиком в рот. Дышать становилось трудно.

«Не спеши, – повторяла она. – Откусывай понемногу».

«А бывает такое, что не смешивается совсем?»

Она задумывалась на мгновение и качала головой:

«Вряд ли. Что-то я не припомню. Хоть как-то все на свете должно быть смешано. Хоть в какой-то степени».

* * *

Ближе к середине фильма они начали шептаться о чем-то друг с другом, и я наконец открыл глаза. С закрытыми глазами мне казалось, что я их подслушиваю. А я не хотел. Вернее, хотел, но не мог себе в этом признаться. Все-таки оставалось еще кое-что, в чем я стеснялся себя уличать. Немного, но оставалось.

– Правда, тебе говорю, – долетел до меня голос Натальи. – Он может. Хочешь, спроси его сам.

Николай, повозившись в кресле, развернулся ко мне.

– Профессор, ты на самом деле можешь все угадать?

– Что угадать? – не понял я.

– Ну вот хотя бы что в этом фильме будет дальше...

Я понял, что Наталья рассказала ему про мои забавы на семинарах по композиции текста. Ирония состояла в том, что она решила похвастаться мною перед своим новым возлюбленным. Перед своим новым старым возлюбленным. В ее сознании я по-прежнему принадлежал ей как добыча удачливого охотника. Моя голова, украшенная раскидистыми рогами, висела у нее над камином. Теперь она присматривала место в своей гостиной для следующего трофея. Покусывала нижнюю губку и озабоченно обводила взглядом комнату.

– Могу, – сказал я. – Не вопрос.

– Ну, давай, – шепнул он. – Скажи, что там дальше случится.

– Подожди, мне надо десять минут.

Приманкой для нового трофея служило уже пойманное животное. Я порадовался охотничьей смекалке моего мучителя и решил помочь этой находчивой Артемиде.

Странное ощущение, но я больше испытывал солидарность с охотником, нежели с дичью. У оленей, видимо, слабовато с корпоративным сознанием.

Ровно через десять минут я рассказал ему громким шепотом, кто кого в этом фильме убьет и кто на ком женится. Я угадал и то, что деньги сторят в машине, а вместе с ними погибнет лучший друг центрального персонажа.

– Как это у тебя получилось? – спросил Николай, когда мы вышли на улицу.

– Ничего сложного. Простой анализ структуры. У каждого героя своя функция и свои мотивы. Как только и то и другое исчерпано, автору приходится его убивать. Если это хороший автор. У плохого все может тянуться до бесконечности, поскольку он не понимает ни мотивов, ни функций. Тогда читатель или зритель скучает. Аналитику определить этот момент в тексте совершенно не трудно. Позитивный эффект от ухода персонажа состоит в том, что зритель испытывает сострадание и повышенный интерес. Если погибает центральный герой, состра-

дание перерастает в катарсис. Ну, это все есть у Аристотеля. Технологии разработаны очень давно.

– А как ты узнал, что в последней перестрелке убьют только главного цэрэушника?

– Перед стрельбой он единственный снял пиджак. Это вопрос колористики. На белой рубашке кровь выглядит намного эффектней – поэтому режиссер специально его раздел. А в момент попадания пуль, если ты помнишь, сцена перешла в режим замедленной съемки. Это можно назвать актуализацией ключевого события за счет задержки в развитии действия. Гете в своих письмах Шиллеру называл это «ретардацией». Кажется, они обсуждали современную им поэзию. Точно не помню.

– А пожар в машине? Как ты его угадал?

– Видеоряд до этого был насыщен образами огня. И у того, кто в итоге сгорел, прозвучала в предыдущей сцене реплика: «Моя жизнь – как пламя» – или что-то в таком духе. Это была, конечно, метафора, но в искусстве ничего не происходит без подготовки. Так же, например, как в бою. Перед атакой пехоты или бронетехники ведется артиллерийский огонь. То есть необходимо заранее создать внутреннюю мотивацию того или иного события, поскольку, как автор, ты знаешь, что оно в конце концов должно произойти. А просто так ничего не бывает. В реальной жизни, между прочим, тоже работают эти законы. Называются «причинно-следственные связи». Только вектор их построения смотрит в противоположную сторону. Как европейская письменность, в отличие, скажем, от арабской. Не справа налево, если ты понимаешь, о чем я говорю. И строит их совсем другой автор.

– Тебе в органах надо работать, – усмехнулся Николай, усаживаясь в машину.

– Ты же говорил, евреев туда не берут.

– Внештатником, – сказал он. – Внештатником, дорогой. Тебя куда отвезти?

– Мне все равно, – ответил я, стоя перед машиной на тротуаре. – В принципе, никуда.

Можете оставить меня здесь.

Николай включил радио, и в машине зазвучала сицилийская мелодия Нино Роты.

– Это из «Крестного отца», – сказала Наталья, захлопывая дверцу. – Обожаю это кино.

Аль Пачино в последней серии просто супер.

– Ну, ты как? – спросил меня Николай, перегибаясь через нее, почти улегшись к ней на колени. – Чем будешь вечером заниматься? Нормально все?

Я помолчал секунду, прислушиваясь к мелодии, впуская ее в себя.

– Буду танцевать весь вечер, – сказал я. – Или повешусь и стану раскачиваться в ритме танго.

– Слава шутит, – сказала Наталья, вынимая сигарету. – Поехали. Я уже вся замерзла.

Стекло между нами медленно поползло вверх. Мелодия стала звучать глуше. Наталья закурила, выпустила дым над стеклом в мою сторону, улыбнулась и помахала рукой. Еще через несколько мгновений их автомобиль растворился в пелене падающего снега. Очень снежной оказалась эта зима.

* * *

– Ну и дурак, – сказала Люба, ставя передо мной стакан с чаем. – Старый глупый дурак. И, кстати, печенье у меня закончилось. Если хочешь, иди в магазин.

– Я не хочу печенье, – сказал я.

– Вот ведь дурак! Могу себе представить вашу троицу там в темноте. Какой хоть фильм вам показывали?

– Я не запомнил названия. Что-то американское. Про стрельбу.

Она скептически хмыкнула.

– И ты, как влюбленный идальго, вприпрыжку поскакал за этой парочкой голубков.

- Я не скакал. Мы доехали на автомобиле.
- На машине этого Ромео из НКВД? А ты кем был при них?
- Он далеко уже не Ромео. Ему сорок восемь.
- Ха! – она резко качнула головой.
- Всего на пять лет моложе, чем я.

Люба прищурилась, и я понял, что она сейчас снова влепит мне своим «ха!».

– Кого ты пытаешься обмануть, Койфман? – продолжила она после этого хлесткого звука. – Меня или себя? Если меня, то не надо. Я знаю все про эти дела. Волшебная палочка теперь у него. От его сорока восьми можешь смело отнимать последние восемнадцать. А ей добавляй десять-одиннадцать. Арифметика! Он сейчас моложе ее. Про тебя речь вообще не идет. Себе можешь накинуть десятку. Помнишь, каким ты живчиком бегал полгода назад? Хвост – пистолетом. Так вот, сейчас совсем другая история. Надо было слушать меня и не бросать Веру. Остался бы со своим полтинником, или сколько тебе там. Вполне, кстати, прекрасный возраст.

Ну да, разумеется, Люба права. Возраст – понятие относительное. Правда, с течением времени все чаще приходится говорить самому себе «нельзя». Сначала говоришь – «нельзя так много смотреть на девушек», потом – «нельзя так много смотреть на баб». Смена существительного отражает не оскудение вокабуляра, а некоторую лексическую усталость. Ее тоже набираешь с годами, как вес. Хотя непосредственно на желании смотреть эта усталость отнюдь не сказывается. Скорее, наоборот.

В итоге испытываешь потребность в суровом самоконтроле. Но получается как-то не очень. Тогда находишь с самим собой общий язык и договариваешься. Обещаешь хотя бы присматривать за «этим типом». Однажды получаешь от себя совет избегать разочарований. С годами они незаметно становятся самым страшным врагом. Страшнее сквозняков, боли в сердце, алкоголя и даже женщин.

Но избежать их можно только одним способом. «Умереть, уснуть и видеть сны». Остаться только в детях.

– Слушай, – с казал я. – Может, надо было больше детей рожать? Они мотивируют – и жизнь в целом не такая бессмысленная. Зря мы с Верой на одном Володьке остановились.

Люба снисходительно улыбнулась и качнула головой:

– Он у тебя не один.

Я уставился на нее. Молчали целую вечность.

– В каком смысле?

– Койфман, у тебя два сына. И это только те, про кого я знаю.

* * *

Когда поженились, Любе нравилось заниматься со мной любовью. Вечерами она расстилала постель, а я специально выглядывал из кухни, задержав свой текст о Фицджеральде на середине строки, позабыв об этом несчастном Гэтсби. Из комнаты ее отца доносились стихи Заболоцкого, и я напряженно старался уловить – что конкретно декламирует Соломон Аркадьевич. Если звучала «Некрасивая девочка», то у нас еще оставались переводы грузинских поэтов, и, значит, вполне можно было успеть. Но если он переходил к «Старой актрисе», мероприятие приходилось переносить на завтра. После «Актрисы» декламация стихов обычно заканчивалась, и Соломон Аркадьевич начинал путешествовать по квартире. Понятие «закрытая дверь» для него не существовало. Хорошо еще, что он шаркал ногами.

«Это мой дом, – говорил Соломон Аркадьевич. – Не надо в нем от меня запирается».

Чтобы избежать его появления у нас на пороге в самый неподходящий момент, мне пришлось подарить ему шлепанцы на два размера больше и в деталях исследовать творче-

ство Николая Заболоцкого. При этом я должен был научиться идентифицировать текст через толстую стену и две двери. Сюда добавляй скрип старых пружин, Любино дыхание и стук моего собственного сердца. Время от времени – мяуканье Любиной кошки, которая сидела под нашим диваном, изгибаясь от похоти, и очевидно нам страшно завидовала. Но Соломон Аркадьевич не хотел котят, поэтому Люсю из квартиры не выпускали. В подъезде бродили ужасные черные коты, а я целовал мою Рахиль под Люсины вопли и прислушивался к голосу Соломона Аркадьевича за стеной. Через полгода после того, как мы поженились, меня можно было брать акустиком на подводную лодку. Вражеским кораблям пришел бы конец.

У всей этой моей наблюдательной работы имелся один существенный минус. Она настраивала меня не на тот лад. Вернее, на тот, но немного не в том направлении. Из-за интенсивности моих наблюдений стрелка компаса иногда излишне стремительно разворачивалась в искомую сторону. То есть, разумеется, в итоге я сам всегда планировал там оказаться, поскольку – кто не планирует? Но не с такой же скоростью.

Казусы происходили не очень часто, однако воспоминание о них надолго отравляло радость от возвращения к тексту о Фицджеральде. После проигранной битвы я сидел на кухне перед своими исписанными листами и шаг за шагом анализировал причины своего очередного поражения. Чаще всего я склонялся к мысли, что виной всему являлась моя торопливость и природное любопытство. Декламация Соломона Аркадьевича оставалась вне подозрений, потому что по логике и по общему внеэротическому контексту она могла только отвлекать, однако в своих преждевременных эякуляциях я все же винил и поэзию Заболоцкого.

Впрочем, быть может, мне просто не стоило подсматривать перед этим из кухни за тем, как Люба расстилает нашу постель. Меня просто завораживали ее движения.

«Ну что, ты идешь? – оборачивалась она ко мне и откидывала узкой ладонью черную прядь со лба. – А то он потом не скоро уснет, а мне завтра к восьми. Чего ты так на меня смотришь?»

Я отворачивался, шелестел бумагами на столе, рассчитывая на спасительное воздействие литературного шелеста. Потом признавался себе, что сквозь этот жаркий туман все равно уже никакого Фицджеральда не видно, поднимался из-за стола и шел к ней, чувствуя, как пылает лицо.

«Что с тобой? Тебе плохо?»

«Нет, мне хорошо».

* * *

Отдельной строкой при этом шла ревность. Точнее, она шла с красной строки. И, в общем, заглавными буквами.

«Не стану я тебе ничего о них говорить, – шипела на меня Люба. – Отвяжись! А то хуже будет».

Но я не мог отвязаться. Это было больше меня. Как стихи Заболоцкого и неуправляемое шарканье шлепанцев Соломона Аркадьевича. Ни одно существо на свете не сумело бы остановить ни то ни другое. Тем более – мою ревность.

Поэтому я спрашивал о них. О тех мужчинах, которым она стелила свою постель до меня. О настоящих взрослых мужчинах, которые не волновались, ни к чему не прислушивались и не кончали так быстро. Которые всегда витали где-то рядом со мной, бесплотными тенями заглядывая через мое плечо ей в лицо, когда она закрывала глаза и откидывала голову на подушку.

«Слушай, так ты сойдешь с ума, – говорила она потом, присаживаясь рядом со мной на табурет и затягиваясь моей папиросой. – Или я сойду. Неужели тебя это так волнует?»

Меня волновало. Я много раз пытался проанализировать свои мотивации, но это не помогло. Все было ясно и без анализа.

«Слушай, а ведь ты, наверное, мог бы кого-нибудь из них убить, – задумчиво говорила она, шурясь от папиросного дыма. – Мог бы? Как думаешь? Если бы встретил? Ты как? Совсем уже или еще нет?»

Я сдувал со своих листов пепел от папиросы, отнимал у нее окурок и делал очень занятой вид. Однако в голове моей творилось непонятно что.

Я был с ними связан, я знал это. С теми мужчинами, которые обладали моей Рахилью до меня. Уместились в те десять лет форы, что она бессовестно получила при рождении. Хотя не имела права. Должна была дожидаться меня. Иначе – зачем вообще приезжать из Сибири, сводить с ума и курить потом на кухне мои папиросы?

Понимая, сколько всего вошло в эти десять лет. И шурясь на меня как кошка.

«Ну и дурак, – говорила она, вставая со своего табурета. – Не хочешь разговаривать – и не надо. Я же вижу – ты не работаешь. У тебя оба зрачка на месте стоят. Ты не читаешь. Ты думаешь про свои дурацкие вещи».

И я действительно думал про них. Я размышлял о том, как непредсказуемо Бог сводит людей. Как удивительно он свел меня с Любой, а через нее – с теми мужчинами, о которых я не хотел думать, но никак не мог остановиться и думал о них без конца. И постепенно мне становилось понятным, что Бог доверяет нас друг другу и что я доверен моей Рахили и Соломону Аркадьевичу, а они, в свою очередь, доверены мне вместе со всем своим прошлым – нравится мне это прошлое или нет. Поскольку время от времени так выходит, что те, кому нас доверил Бог, могут нас не устраивать и даже причинять сильную боль, но это, в общем-то, не нашего ума дело, и все, что от нас требуется, – лишь способность оправдать вместе с ними это доверие и быть в итоге достойным его.

Хорошие мысли. Но они не помогли.

В конце концов Люба не вынесла моих бесконечных расспросов и стала кричать на весь дом.

«Ты хочешь узнать – кто они были?! Хочешь услышать про них что-нибудь?! Сейчас я тебе расскажу!»

Она стояла рядом с диваном, на который мы только что улеглись, почти голая, а за спиной у нее уже открывал дверь Соломон Аркадьевич.

«Они были взрослые! Понял? Настоящие взрослые евреи!»

* * *

После этого она увлеклась иудаизмом. Странно так думать, но причиной, кажется, послужил именно я. Точнее, моя неполноценность в плане еврейского вопроса. В доме появились книги на непонятном мне языке, какие-то специальные одежды, подсвечники. Необычные правила питания.

«Если бы твоя мама была еврейка, ты бы меня понимал. Но она русская. А твоя фамилия ничего не значит».

Когда я учился в институте, моя фамилия значила довольно много. Во время каждого ближневосточного кризиса меня вызывали на комсомольское собрание факультета и заставляли выступать с осуждением захватнической политики Израиля. Однокурсники относились к этому безразлично – все просто ждали конца собрания, а я читал вслух с бумажки необходимые слова и время от времени посматривал на задний ряд. Там всегда сидел кто-нибудь незнакомый. Чаще всего он не дослушивал до конца. Поднимался и уходил в середине собрания. Эти незнакомцы нам доверяли. А может быть, просто были очень заняты. Или и то и другое вместе.

Но Любу эти исторические подробности не волновали. Мои страдания за еврейский народ она называла коллаборационизмом. Произносила это ужасное слово, сдвинув брови,

сильно нахмурившись и глубоко затягиваясь папиросой из моей пачки. Она всегда курила из моей пачки. Видимо, тоже научилась этому у своих хулиганов в Приморье.

«Понимаешь? Она у тебя русская».

«Ну и что?» – говорил я.

Разумеется, моя мама была русская. Иначе откуда бы у меня взялась вся эта любовь к евреям? Будь я стопроцентный семит, я бы их наверняка ненавидел. Из всех народов человеку мыслящему труднее всего полюбить свой собственный.

По поводу моей незавершенности в этническом плане мне очень нравилась мысль одного из греческих мудрецов. Кажется, его звали Питтак. Или это был Гесиод, я не помню.

«Не понимаю тебя! – сердилась Люба и морщила нос. – Как это половина может быть больше целого?»

«А вот так, – говорил я. – В этом и состоит удивительная тайна паллиатива. Недосказанность всегда будет содержать больше смыслов, чем то, что высказано до конца. Понимать надо. Эй, осторожней! Зальешь мне чаем вторую главу!»

Однако родственники моего отца склонялись к тому, чтобы не замечать очарования паллиатива. Впрочем, меня, как собственно явление паллиативное, они воспринимали с большей или меньшей терпимостью, но вот причину этого явления они возненавидели всей страстной еврейской душой. Точнее, страстными еврейскими душами. Потому что их было много. Тетя Соня, дядя Вениамин, еще двоюродные папины братья. Мама всегда как-то оставалась одна. То есть в меньшинстве, поскольку я все-таки вертелся поблизости. Мало что понимая, бегая по комнатам, приставая к взрослым, воруя конфеты из шкафа, но постоянно находясь в полной готовности принять ее сторону. С ватрушками, пельменями, звонким веселым голосом, фильмом «Девчата», с любовью к артисту Рыбникову и удивительными блинами.

Впрочем, ее блины папины родственники тоже кушали с большим удовольствием. Уминали целыми горками.

«Если бы твоя мама была еврейка, ты бы меня понимал», – говорила мне Люба.

Но я и так понимал ее. Это она меня не понимала.

Когда мои родители разошлись, все папины родственники остались довольны. Дядя Вениамин сказал ему: «Вот видишь, тебе хватило сил поступить верно. Теперь можно заниматься воспитанием сына. А то назвали его Святослав. Надо узнать в облисполкоме – можно ли ему дать другое имя».

У дяди Вениамина в облисполкоме работал школьный друг, и он старался упоминать его как можно чаще. Поэтому, не выговаривая правильно «карандаш», слово «облисполком» в свои три с половиной года я произносил уверенно и даже с определенным шиком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.